

МАРК

АЛДАНОВ

ЗАГОВОР

(СБОРНИК)

Марк Алданов
Заговор (сборник)

«Public Domain»

1921, 1926

Алданов М. А.

Заговор (сборник) / М. А. Алданов — «Public Domain», 1921,
1926

ISBN 978-5-4444-1453-8

Роман «Заговор», созданный выдающимся русским писателем и философом Марком Алдановым, повествует о последних днях правления императора Павла I. Неограниченная власть самодержца, человека от природы одаренного и благородного, превратила его личную драму в национальную трагедию. Данный роман вместе с повестью «Святая Елена, маленький остров» завершает тетралогия «Мыслитель», охватывающую огромную панораму мировой истории от Французской революции и параллельных событий в России до заката Наполеоновской империи.

ISBN 978-5-4444-1453-8

© Алданов М. А., 1921, 1926

© Public Domain, 1921, 1926

Содержание

Заговор	5
Предисловие	5
Часть первая	6
I	6
II	10
III	15
IV	20
V	23
VI	25
VII	30
VIII	34
IX	37
X	41
XI	46
XII	49
XIII	51
XIV	54
XV	57
XVI	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Марк Алданов

Заговор (сборник)

Заговор

Предисловие

В основу настоящей книги легла мрачная историческая драма. В деле, закончившемся 11 марта 1801 года, сказалась с необыкновенной силой черта **безвыходности**. В совершенно безвыходном положении были и царь и цареубийцы.

Император Павел по характеру не был тупым, кровожадным извергом, каким не раз его изображали историки русские и иностранные. От природы человек одаренный и благородный, он стал жертвой душевной болезни, по-видимому, очень быстро развившейся в последние месяцы его царствования. Неограниченная власть самодержца превратила его личную драму в национальную трагедию.

Среди участников заговора были, разумеется, люди разные.

Первые пятнадцать лет XIX века представляются мне самым блестящим периодом во всей истории России. Подход к этому времени был, по многим причинам, нелегкий. Нужно было прежде всего преодолеть в себе и казенного Иловайского, и Иловайского революционного, – для людей моего поколения второй был опаснее первого. Как романиста, меня в первую очередь занимали не исторические события, не политические явления, а живые люди. Долголетнее изучение документов, относящихся к **людям**, убедило меня в том, что не только наиболее выдающиеся из русских деятелей конца XVIII и начала XIX века (Суворов, Пален, Безбородко, Панин, Воронцовы), но и многие другие (Талызин, Вал. Зубов, Яшвиль, Завадовский, Строгановы, С. Уваров) в умственном и в моральном отношении стояли не ниже, а выше большинства их знаменитых западных современников, участников Французской революции. Убийцы Павла I составляли небольшую часть блестящей исторической группы. Но и часть эта отнюдь не была однородной: заговорщики говорили на разных языках – даже почти в буквальном смысле этого выражения.¹ Если б граф Пален остался у власти в царствование Александра I, вероятно, история России (а с ней и европейская история) приняла бы иное направление. Гадать на эту тему не приходится, но всемирное историческое значение дела 11 марта достаточно очевидно.

Автор

Август 1927 года, Париж

¹ Слог людей поколения Палена, получивших воспитание в царствование Елизаветы Петровны, очень заметно отличается от языка деятелей александровской эпохи, уже довольно близкого к нынешнему.

Часть первая

I

Солнце четко очерченным малиновым шаром просвечивало сквозь молочный туман. Казалось, будто странная чужая планета подошла к освещенной не ею земле и неподвижно повисла в тусклой белизне неба.

К Кушелевскому театру непрерывно подъезжали экипажи, каждый раз неожиданно вырастая в тумане перед глазами будочников. Поспешно соскакивали лакеи, откидывали подножки карет и высаживали господ, которые, беспокойно оглядываясь на темневший вдали тень Зимний дворец, осторожно по мерзлым ступеням лестницы поднимались в сени театра, бледно светившиеся дрожью масляных фонарей. Будочники, переводя глаза от седоков к кучерам, мгновенно меняли почтительное выражение лиц на злобное и строгое. Кареты быстро отъезжали, исчезая за серой стеной тумана.

Морщась от света ламп и от запаха горелого масла, Иванчук в сенях отряхнул снег с сапог, снял перчатки и заботливо положил в карманы шубы, так, чтобы их не оттопырить. Затем скинул с себя шубу и, сложив ее вдвое, мехом вверх, отдал у боковой вешалки лакею, которого несколько раз твердо и отчетливо назвал по имени, напоминая этим, что он здесь свой человек. Не торопясь, он осмотрелся перед тускло освещенным зеркалом под насмешливым взором дамы, желавшей поправить прическу. Иванчук, не поворачиваясь, через зеркало послал даме приятную, слегка игривую улыбку. За дамой в зеркале отразилась высокая фигура в мундире. Улыбка Иванчука стала чуть задумчивой, – будто он улыбался своим мыслям. Он отошел от зеркала и направился к дверям зрительного зала, испытывая, как всегда в большом обществе, легкое нервное возбуждение. Его место было во втором ряду паркета: для первого ряда он еще считал недостаточным свое служебное положение, а третий стоил столько же, сколько второй. За свои деньги Иванчук желал и умел получать самое лучшее. Знакомый кассир оставлял ему даже на парадные спектакли всегда одно и то же, запиравшееся ключом, кресло. Таким образом, внимательные к мелочам люди могли думать, что кресло это взято Иванчуком по абонементу на целый сезон и что он, как человек очень занятой, посещает только парадные спектакли. Грациозно наклонив голову, слегка улыбаясь и повторяя «пардон», «мил пардон», Иванчук прошел боком к своему креслу, отпер ключом замок, но не сел. Он быстро одним взглядом окинул зрительный зал, сразу заметил почти всех, кто этого стоил, затем поднес к глазам лорнет (лорнеты опять вошли в моду) и, беспрестанно отводя его в сторону, – без лорнета он видел лучше, – принялся рассматривать залу, любезно раскланиваясь, с легкой улыбкой и с грациозным движеньем левой руки. Иванчука, состоявшего теперь на немаловажной должности при графе Палене, в лицо начинали знать почти все. Люди, неуверенно вспоминаявшие его имя, смутно знали, что это очень способный и основательный молодой человек, делающий прекрасную карьеру. И даже неблагозвучная фамилия его, по мере того, как к ней привыкали, принимала какой-то новый, нисколько уже не смешной характер.

С легкой досадой Иванчук подумал, что приехал все-таки минут на пять раньше, чем следовало бы. Лучшие ложи первого яруса и места в паркете еще не все были заняты. Зато партер и второй ярус были набиты битком. В ложах верхнего яруса расположилось купечество, по преимуществу немецкое. Дамы там были одеты попроще и носили на шее не бриллианты, а жемчуга. Некоторые раскладывали на барьере бутерброды и филейное вязанье. Иванчук имел знакомых и в верхнем ярусе, но с ними не раскланялся. Он подошел к одной из лож и, часто оглядываясь, поговорил со старой дамой, которая ласково кивала ему головой.

Театр быстро наполнялся. На спектакле, сборном и благотворительном, было лучшее общество. Императорская ложа, однако, была пуста. Входившие в залу люди первым делом оглядывались на эту ложу и облегченно вздыхали, увидев, что в ней не зажжены свечи.

В проходе между сценой и первым рядом кресел показался граф Ростопчин. Учтиво отвечая на поклоны, он быстро прошел к своему месту и остановился спиной к сцене, опершись на барьер. Иванчук мгновенно простился с дамой, скользнул в первый ряд и там, на виду у всего театра, пожал руку Ростопчину, который в последнее время очень благосклонно к нему относился. Ростопчин теперь занимал в обществе и в правительстве такое высокое положение, что мог без всякого ущерба для себя быть хорошо знакомым с кем угодно. Прежде особенно подозрительный, всегда находившийся настороже, он понемногу переходил на роль природного грансенъора, со всеми ровного в обращении: он уже одинаково учтиво раскланивался с Иванчуком и с графом Паленом. Сияя приятной улыбкой, Иванчук поговорил с Ростопчиным: по-настоящему это могли оцепить в театре только пять или шесть человек его сверстников, но именно впечатление, произведенное на них, было особенно приятно Иванчуку.

На сцене гулко стукнули три раза молотком. Иванчук успел изобразить сожаление по поводу того, что начало спектакля не дает ему возможности продлить интересную беседу, и, наклонив вперед голову, прошел обратно во второй ряд, повторяя с сияющим выражением «пардон», «миль пардон». Как он ни любил общество высокопоставленных людей, он всегда, расставаясь с ними, чувствовал некоторое облегчение. Занавес поднялся с приятным, чуть волнующим шелестом. Одновременно в первую от сцены ложу вошел, вызывая общее внимание, граф фон дер Пален, военный губернатор Петербурга.

Под стук дверей и отодвигаемых стульев что-то сыграла на английской гармонике заезжая девица. Кроткое выражение ее лица свидетельствовало о том, что она знает свое место: девица всегда играла под стук дверей и шорох шагов. Ей похлопали в ложах второго яруса; в отсутствии императора аплодировать можно было кому угодно и когда угодно. Артистка встала, шагнула вперед и низко присела, наклонив длинную голову (она очень долго, по лучшим образцам, училась этому поклону). Хлопали девице мало, однако достаточно для того, чтобы она сочла себя вправе снова сыграть ту же пьесу, – к большому удовольствию немок и немцев второго яруса: чем дольше продолжался спектакль, тем им было приятнее.

Иванчука в театре интересовали исключительно антракты. Он отвернулся от сцены и снова принялся рассматривать зал. «Патрон какой именинник, – подумал Иванчук, глядя на графа Палена. – Он, впрочем, на людях всегда именинник... Тонкая штучка Петр Алексеевич, суций Машиавель!.. А поглядеть глупому человеку со стороны – совсем душа нараспашку», – думал Иванчук с удовольствием. Он с чрезвычайным почтением относился к своему начальнику, и ему особенно было забавно, что глупым людям со стороны Пален может показаться добродушным и простым человеком. В соседней с военным губернатором ложе сидела красавица Ольга Жеребцова. С ней Иванчук не был знаком и очень об этом сожалел. Он внимательно вгляделся в ее бриллиантовую диадему и оценил ее не меньше как в восемь тысяч – даже по ценам, сильно сбитым французскими эмигрантами, которые распродавали свои последние вещи.

«А ведь она этак долго будет играть – сыграет и повторит, сыграет и повторит... До Шева-лихи еще далеко. Не пойти ли в ресторацию?»

В ресторацию во время спектакля выходили только важные люди или щеголи. Иванчук дождался конца пьесы и под шум новых, немного более жидких рукоплесканий направился к выходу, со снисходительной усмешкой, относившейся к игре артистки. У полуоткрытых дверей зрительного зала стоял только что вошедший красивый молодой генерал, командир Преображенского полка Талызин. Иванчук был с ним знаком, но не совсем; его раза два представляли генералу, однако уверенности, что Талызин его знает, у Иванчука не было. Он с достоинством поклонился и скользнул мимо генерала, говоря вполголоса:

– Мочи нет, как фальшивит...

Это замечание передавало Талызину инициативу дальнейшего: он мог, если хотел, начать разговор. Генерал приветливо протянул руку Иванчуку и, может быть, поддержал бы разговор об артистке. Но его внимание отвлек молодой невысокий офицер, тоже выходящий из зала.

– Вы, сударь мой, что ж, или знать меня не хотите? – сказал Талызин, ласково улыбаясь и хватая молодого человека за рукав. – Третьего дни опять не были, а?

Иванчук оглянулся на офицера, помешавшего ему поговорить с командиром Преображенского полка, и с удивлением узнал двадцатилетнего графа де Бальмена. «Не умеет Талызин соблюдать диштанцию, – подумал Иванчук. – С этаким клопом как разговаривает. А где же это он третьего дни опять не был?.. Говорят, Талызин зачем-то собирает у себя молодых офицеров».

– Станный нынче день! На солнце не больно смотреть, точно и не светит, – сказал Талызин.

Солнце не интересовало Иванчука. Он приятно улыбнулся и вышел из зала. В пустом коридоре было холодно. Иванчук, морщась, потрогал перед зеркалом суставом указательного пальца образовавшуюся у него в последнее время складку между шеей и подбородком («нет, это так, – успокоил он себя, поднимая голову, – вот и нет никакой складки»). Он снял с досады только что замеченную им на левом плече пушинку от шубы («ох, стала лезть») и прошел в ресторацию. Она тоже была еще пуста. Буфетчик симметрично раскладывал на тарелках бутерброды, наводя на них пальцем последний лоск. Лакей, сонно сидевший в углу, вскочил и подбежал к барину, предлагая занять столик. Иванчуку не хотелось есть (в театр приезжали в четвертом часу прямо с обеда), да и денег было жалко. Столика он не занял, чтобы не давать на чай лакею, но у буфета выпил рюмку гданской водки и поговорил с буфетчиком, внимательно расспрашивая его об артистках и об их покровителях. Буфетчик отвечал неохотно. Иванчук расплатился. В эту минуту в ресторацию вошел Штааль. В руке у него был букет, обернутый в тонкую бумагу.

«Его только не хватало, куды кстати», – со злобой подумал Иванчук. Штааль подходил к буфету, и ограничиться поклоном было невозможно.

– Ты что здесь делаешь? – небрежно протягивая руку, сказал Иванчук первое, что пришло в голову.

– Глупый вопрос, – кратко ответил Штааль, подавая левую руку.

Иванчук вскинул голову от неожиданности.

«Как этот болван озлобился после их похода, аж лицо стало другое. А ведь вернулся с поручением ранее всех и не ранен, слава Тебе, Господи! – подумал он. – Злится, что видел меня с Ростопчиным...»

– Мне коньяку дайте с зельцвасером, – неприятно щурясь, произнес Штааль и взял в левую руку букет с проступавшей на бумаге влагой.

– Белого или желтого прикажете?

– Желтого.

– Да ведь ты, кажется, не охотник до представлений, – сказал Иванчук, подчеркивая равнодушным тоном, что грубый ответ его задеть не может. – И то, скучно. Я, брат, признаться, зеваю от гипокондрии, когда не Шевалиха... Все одни персонажи. И на сцене, и в зале.

– Ты мне уже говорил это в Каменном театре.

– Да, да, всегда зеваю, – повторил, несколько смутившись, Иванчук. «Однако, правда, какая у него стала неприятная физиономия. Совсем не тот, что был прежде», – подумал он.

– А когда Шевалье, то не зеваешь? – насмешливо спросил Штааль.

«Да, вот оно что, ведь он за ней волочится, дурак эдакой, – подумал Иванчук. – И букет для нее... Очень он ей нужен, твой трехрублевый букет...»

– Что ж, она без экзажерации² хороша, – сказал он. – И притом мила необыкновенно... Особливо не на сцене, а дома, – добавил Иванчук, и по лицу его вдруг скользнуло наглое выражение. – Я в четверг к ней собираюсь вечером. Ты, верно, тоже у ней будешь?

Штааль вспыхнул:

– Так ты у нее бываешь? Как же ты...

Он оборвал вопрос. «Ведь все равно этот лизоблюд не скажет, как он туда пролез. Какой он стал, однако, противный с тех пор, как в люди выходит!.. И голос жирный эдакой...»

– Бываю, бываю, – с невинным видом ответил Иванчук (он в первый раз получил приглашение). – В четверг уговорился быть у ней с патроном. Ну да, с графом Петром Алексеевичем... А ты разве не бываешь у Шевалихи? Твое начальство, кстати, тоже ее не забывает. Осенька де Рибас-то... Ведь ты при нем состоишь? Да, кстати, ведь он получил абшит!³ Так ты теперь при ком же?

– Ни при ком, – кратко ответил Штааль.

– Ежели я могу быть тебе полезен, с превеличайшей радостью замолвлю словечко, – покровительственно сказал Иванчук. Он охотно давал такие обещания, так как считал, что они решительно ни к чему не обязывают: никогда без надобности не замолвлял словечка.

– И много народу у ней бывает? – перебил Штааль.

– У Шевалихи? Нет, немного, – неопределенно ответил Иванчук.

– Правда ли, будто она в связи с государем? – быстрым злым шепотом спросил Штааль.

Иванчук быстро оглянулся (буфетчик стоял далеко) и пожал плечами:

– Ну, разумеется, это всякий ребенок знает...

– А как же княгиня Гагарина?

– Что же Гагарина? Гагарина Гагариной... Ты бы еще спросил: «А как же императрица Мария Федоровна?» Глупый вопрос, брат, – сказал Иванчук, улыбнувшись от удовольствия.

– Тебя кто ввел к Шевалье? – как бы рассеянно произнес Штааль и зевнул.

– Кто ввел? – так же рассеянно переспросил Иванчук. – Ты знаешь, здесь дует. Еще получу кашель, и без того физика расстроена... Пойду в зал... Кто ввел? Право, не помню. Мы давным-давно с ней хороши.

– А я думал, ты по вечерам в ложах, – сказал, с ненавистью на него глядя, Штааль. – Ведь ты стал фреймасоном?

Иванчук опять беспокойно забегал глазами по сторонам.

– Да ты не волнуйся, никто не слышит. Говорят, в «Умирающем сфинксе» много всяких богачей и знатных персон... Или ты не в «Умирающем сфинксе»?.. Ведь, кажется, и государь – масон? Так чего ж бояться? Совершенствуйся, брат, не мешает... Ну, вот теперь молчу, люди идут.

В дверях ресторации показалось несколько человек. Среди них был весело чему-то смеявшийся граф де Бальмен. Он подошел к буфету и поздоровался с Иванчуком и с Штаалем.

– Mais je la trouve très gentille, la petite, au contraire,⁴ – громко сказал он, оглядываясь на свою компанию.

– Кто эта жантель? – покровительственно спросил Иванчук.

Де Бальмен уставился на него круглыми глазами, затем снова покатился со смеху.

– Что ж, как потеплеет, поедем на юг? – спросил он, видимо тщетно придумывая объяснение своему веселью. – Ведь решено?

– Поедем, ежели отпуск получу. А то работы у графа пропасть, истинный аркан. Может, и вовсе не поеду...

² Преувеличение (*франц.* exagération).

³ Отставка (*нем.* Abschied).

⁴ А по-моему, она, наоборот, очень мила (*франц.*).

– Ты у графа по какой части? По Тайной канцелярии? – вызывающе спросил Штааль.

Де Бальмен удивленно на него взглянул. Иванчук вспыхнул. В это время издали донеслись шумные рукоплескания. Из ресторации все устремились в залу. На сцене, сияя умиленной актерской улыбкой, стояла, вся в бриллиантах, госпожа Шевалье. Публика бешено аплодировала. У барьера, отделявшего залу от сцены, толпилась молодежь, восторгу которой кисло снисходительно улыбались, подбирая под себя ноги, важные люди, сидевшие в первом ряду паркета. Штааль пробился к барьеру, бросил свой букет к ногам артистки и отчаянно захлопал. Аккомпаниатор поднял букет, скромным жестом протянул его госпоже Шевалье и отступил на шаг назад. Красавица улыбнулась Штаалу особо и, опустив голову, поднесла букет к лицу. Еще несколько букетов упало на сцену. Аккомпаниатор подошел к клавесину, но не сел. Часть публики продолжала хлопать, часть взволнованно шипела, призывая к тишине. Артистка как бы с трудом оторвала лицо от букета и повернула голову к аккомпаниатору, который тотчас, стоя, опустил руки на клавиши. Молодежь бросилась по местам. В ту же секунду публика стала подниматься: клавесин играл мелодию «God save the King».⁵ Госпожа Шевалье запела по-русски:

Крани, Господ, крани
Монарка Россов дни,
Господ, крани...

Она пела, не разбирая заученных слов, произносила их по-французски и сама мило улыбалась своему произношению. Подавленный стон восторга пронесся по залу. То, что артистка выговаривала «господ-крани», еще усиливало общее восхищение.

...Рассискик он сипов
И слава, и льубов;
Драгие Павля дни,
Господ продли!

Госпожа Шевалье закрыла глаза и взволнованно шагнула назад. В первой ложе, слегка перегнувшись над барьером, восторженно захлопал граф Пален.

II

Не дожидаясь последней пьесы длинного спектакля, Иванчук вышел в сени, потребовал шубу и дал на чай лакею, сказав: «Прощай, Петр». Другой лакей, сняв шапку, широко раскрыл перед ним выходную дверь. Иванчук поднял воротник и, постаравшись не заметить второго лакея, вышел на крыльцо, сжимая губы и ноздри. Туман рассеялся. Было очень холодно. Резкий ветер задувал горевшие у лестницы фонари. Будочников не было видно, и Иванчук об этом пожалел: он очень любил полицию. Небольшая кучка людей толпилась у цепи экипажей. Огромный бородатый сбитенщик с полотенцем, переброшенным через плечо, вдруг вытянулся перед Иванчуком у фонаря и закричал диким голосом: «Кто начнет, того Бог почтет...» Иванчук испуганно отшатнулся, затем крепко ругнул сбитенщика. Тот смеялся пьяным смехом, – видно, он уж не раз проделывал эту шутку с выходившими из театра людьми и старался ею рассмешить народ. Иванчук неторопливо пошел вдоль вереницы извозчиков, как будто хотел для прогулки вернуться домой пешком: он никогда не брал первого в ряду, зная, что первый возьмет дорожку. Дойдя до середины цепи, он, точно передумав, остановился и нанял, поторговавшись, извозчика, который, под недоброжелательный ропот, выехал из цепи, тотчас за ним

⁵ «Боже, храни короля» (англ.).

замкнувшейся. Высокий сбитенщик следовал за Иванчуком и бормотал пьяным голосом: «А у вашего Никитки вот-то хороши напитки...» Иванчук презрительно отвернулся, плотно застегнул шубу и вложил руки в муфту. «Как бы его не встретить, – подумал он, имея в виду государя, при встрече с которым приказывалось выходить из экипажей. – Жуть какая, однако...»

По темному небу, догоняя сани, неровно бежала, вспыхивая голубыми краями, тусклая луна, окаймленная мутным сияньем. Извозчик свернул на Миллионную и поехал скорее. Иванчук, немного освоившись с пустынной, слабо освещенной улицей, тишиной и холодом, стал соображать расходы: билет, водка, на чай лакею, извозчик в оба конца... По мере того как росло благосостояние Иванчука, он становился все скупее: не потеряв времени на службе, он имел уже и клочок земли, и закладную на каменный дом, который, по состоянию дел и по характеру должника, непременно должен был скоро достаться Иванчуку в собственность. Были у него и деньги в Гамбургской конторе. Земли он не скрывал – говорил, что имение, хоть недурное, совсем не приносит дохода, а продать опять же нельзя: родовое. Но закладную, и особенно капитал за границей держал в большом секрете. Иванчук не боялся, что у него попросят займы: ему не стоило бы никакого усилия отказать – даже и неприятно не было бы несколько. Но молчать было все-таки лучше. Он приторговывал еще другое имение под Житомиром, собирался туда съездить и уже подготавливал общественное мнение к своей покупке: знакомым он говорил неопределенно, что, быть может, ненадолго съездит по делу на юг; близким же приятелям доверительно сообщал, что, если б у него были деньги, он, пожалуй, купил бы еще клочок земли, где-либо под Полтавой или в Новороссии. Иванчук был скрытен не по замкнутости характера и даже не из расчета (никто не мог помешать ему купить имение), а так: не то по ограниченности, не то по наследственному инстинкту. В действительности он твердо решил купить имение на Волыни и стать настоящим помещиком (первый клочок земли был действительно невелик и без порядочного дома). Но Иванчуку не хотелось сразу вынимать немалую сумму денег из Гамбургской конторы. «Теперь всего можно ждать», – мысленно повторил он фразу, которую говорили все.

Хоть ему, собственно, ничего не приходилось бояться – он не имел никакого соприкосновения с императором, – мысли эти вызвали в Иванчуке смутное беспокойство, и одновременно он почувствовал, что еще было что-то неприятное – совсем недавно – в театре. «Да, Штааль. Ну и черт с ним! И не любит она его больше... Только как же с ней быть, с Настенькой? Надо попросить Шевалиху. Ей одно слово сказать, и Настеньку примут куда угодно...»

Он поспешно высвободил руку из муфты, нагнул голову и схватился за шапку. Слева рванул пронзительный ветер. У Иванчука захватило дыхание, слезы выступили на глазах и защемило в висках. Открылась темная огромная Нева, с медленно двигавшимися белыми пятнами последних, крытых снегом, льдин. В черной воде быстро дрожали вертикально в нее погруженные узкие огненные столбы. Извозчик повернул направо, выехал на площадь и торопливо сорвал с себя шапку.

Вдали чернела громада Михайловского замка. Лунный свет поблескивал на золотом шпиле. Два окна в верхнем этаже горели красноватым огнем.

«Зачем он шапку снял? Ведь государь еще не живет здесь... Или он сейчас во дворце?» – подумал Иванчук – и тоже немедленно обнажил голову, как предписывалось в последнее время делать перед дворцом, в котором находился император. Извозчик съезжился и подтянул вожжи, зажимая под мышкой худую желтую шапку. Морщась от дувшего в затылок ледяного ветра, придерживая рукой волосы, Иванчук не отводил глаз от дворца. Михайловский замок был неприветлив и страшен. «Совсем почти готов. Капитальная, однако, штука... И то сказать, обошелся, говорят, в восемнадцать миллионов, – ну, правда, и крали немало», – думал Иванчук. По ту сторону канала произошло движение. Ворота дворца медленно открылись. За ними у пушек показались окаменевшие фигуры часовых. «Это какие же ворота, Воскресенские?.. Нет, Рождественские», – подумал Иванчук и вдруг вздрогнул. Вблизи загремел барабан. Что-

то огромное пошатнулось над каналом. Быстро опустился подъемный мост. Из ворот, стоя в коляске лицом к Михайловскому замку, быстро выехал офицер. Барабан замолк, раздалась команда, мост снова взвился над каналом. Извозчик растерянно оглянулся на седока с козел. Лицо у него было бледное.

– Поезжай живее, ты! – приказал Иванчук, соображая, можно ли уже надеть шапку. Извозчик ударил вожжой по лошади и пробормотал что-то невнятное. «Зачем, в самом деле, этот мост, зачем пушки? Или вправду, как болтают, затеян кем-то заговор?» – спросил себя, замирая, Иванчук, нервно откидываясь на неудобную невысокую спинку саней. Он с облегчением подумал, что не имеет и не будет иметь никакого отношения к заговору (если заговор и существует). «Разве только играя наверняка? И то нет». Мысли его перескочили к Тайной канцелярии, затем к масонам. Иванчук лишь недавно стал масоном, узнав, что в ордене состоит государь. «Да, полно, еще состоит ли?» – думал он беспокойно, вспоминая, что в ложе разговор всегда странно обрывался, когда речь заходила об императоре. «Не спросить ли об этом нынче Баратаева? Нет, еще неловко. А проще бы, пожалуй, орудовать через Шевалиху или Ростопчина, чем через них». Он очень боялся масонов, особенно потому, что не знал пределов их власти и компетенции. «Ну, если они губернатора пожелают другого назначить – могут аль не могут?» Он все же склонялся к тому, что не могут.

Мысли его стали совсем мрачными.

Из предосторожности Иванчук велел извозчику остановиться, не доезжая до баратаевского дома, в котором должно было состояться заседание масонской ложи. Вытащив из кармана кусок бумаги, он старательно вытер им сапоги, бросил грязный комок на мостовую, вылез из саней, расплатился с извозчиком и, осмотревшись, направился дальше пешком. В доме Баратаева были освещены только три окна. Лакей запуганного вида, дремавший в передней под фонарем, с удивлением посмотрел на Иванчука. Шуб на вешалке не было.

– Что, разве никого нет у барина? – спросил Иванчук.

Узнав, что никого нет, он посмотрел на часы, затем нерешительно велел о себе доложить. Лакей, однако, не пошел докладывать, а пригласил гостя следовать за собой. Они пошли по лестнице, затем по коридорам. Запахло аптекой. У высокой двери лакей испуганно остановился, постучал, затем, открыв дверь, пригласил гостя войти. В освещенной свечами комнате никого не было. Иванчук осмотрелся и с неприятным чувством увидел стоявший в углу на небольшом пьедестале человеческий скелет. Постарался устроиться от него подальше: сел было за большой стол, посредине комнаты, но и тут ему не понравилось. На столе под укрепленной на песчаной бане ретортой с какой-то красноватой жидкостью горел слабый огонь. Иванчук перешел к маленькому, обтянутому черным бархатом столу, на котором лежали разные книги. Он сел на неудобный низкий стул, подогнув под себя ноги, сложив руки, которые решительно некуда было деть. Против него висели на стене в черных рамах две картины. Одна изображала фигуру человека. На светло-коричневой груди его с левой стороны, чуть повыше сердца, свилась зеленая змейка с надписью «Самолюбие». Под фигурой было написано: «Земной естественной темной человек». На другой картине пожилой бритый мужчина в тоге и сандалиях, вытянув в сторону левую руку, сидел в задумчивой позе где-то очень высоко, над памятниками, куполами, крышами города. Надпись поясняла:

Ужели это все?.. так Цесарь возвещал,
Когда вселенною он всей возобладал.

Неприятное чувство все усиливалось в Иванчуке. Он потрогал черный кожаный переплет одной из книг, затем нерешительно стал пересматривать книги. «Господина Макера начальные основания умозрительной и деятельной химии»... Immanuel Kant. «Träume eines Geistesehers,

erläutert durch Träume der Metaphysik...»⁶ «Это тот кенигсбергский старичок, о котором всегда врет Штааль... А это что, экое длинное заглавие!» Он прочел полушепотом заглавие книги в дорогом золоченом переплете (по-немецки он знал лучше, чем по-французски): «Die wahrhafte und vollkommene Bereitung des philosophischen Steins, der Bruderschaft aus dem Orden des Gulden- und Rosen-Creutzes. Darinne die Materie zu diesem Geheimniss mit seinem Namen genennet, auch die Bereitung vom Anfang bis zum Ende mit allen Handgriffen gezeiget ist...»⁷

«Так и есть, он розенкрейцер», – подумал Иванчук. Слово «розенкрейцер» было интересное и страшное, гораздо интереснее и страшнее, чем фреймасон.

Внезапно дверь кабинета распахнулась, и в комнату вошел Баратаев. Иванчук поспешно встал, сделал несколько шагов вперед и мягко улыбнулся. Но хозяин, не глядя на него, быстро подошел к большому столу и наклонился над ретортой. Неловкая улыбка повисла на лице Иванчука. Он испуганно смотрел на Баратаева.

Красная жидкость в реторте слегка дрожала. Со дна по краям побежали пузырьки. Вдруг пузырьки появились и посередине, вся поверхность жидкости задрожала, и на конце длинного оттянутого горла реторты показалась бесцветная капля, выросла и сорвалась в подставленную под горло черную бутылочку. Баратаев с восклицанием быстро отвел из-под бани черную лампу. На лампе была надпись: Ardarel.

«Что ж, этот сумасшедший и не думает со мной поздороваться», – подумал Иванчук, нехотя готовя себя к тому, чтобы обидеться (он очень не любил обижаться). Но обидеться он не успел. Баратаев повернулся к нему и протянул свою огромную, длинную руку.

– Прошу простить, сударь, – сказал он. – Не считите невниманием.

– Ах, ради Бога...

– Прошу садиться, – отрывисто произнес хозяин и снова наклонился над ретортой. Красная жидкость медленно успокаивалась. Баратаев взял из-под горла черную бутылочку (на ней было написано: Nekaman) и закупорил пробкой.

– Рад посещению, – вопросительным тоном сказал он, садясь в кресло. Изможденное лицо его было мрачно и неприветливо. Во впадинах щек темнели тени.

– Я, кажется, приехал слишком рано, – начал Иванчук. – Помнилось мне, будто собрание нашей ложи должно быть в осьмом часу?..

Баратаев смотрел на него, очевидно стараясь что-то сообразить.

– Собрание ложи? – переспросил он холодно. – Отложено. Жалею... Будет не у меня, но на Васильевском острове.

– Как отложено? – воскликнул Иванчук. – Мне ничего не дали знать.

– Из чужих земель прибыло одно лицо, – сказал нехотя Баратаев. – Имеет важную notiцию об их делах и о французском Востоке. Собрание по сией причине отложено. Не чаю, чтобы было ранее той недели... Верно, не знали, где изволите стоять. Не взыщите.

– Да что ж, беды никакой, – сказал Иванчук с достоинством и поднялся с места. – Тогда не смею более беспокоить.

Хоть он нисколько не желал оставаться в обществе старика, в этой странной комнате, – его неприятно задело, что хозяин ничего не сказал и даже не пытался его удержать. Баратаев проводил Иванчука до двери и простился, недоброжелательно глядя на гостя. Стараясь не сбиться в неровных, очень плохо освещенных коридорах дома, Иванчук вышел к лестнице. В передней сгорбленный старик, при помощи лакея, с трудом освобождал руки из рукавов шубы. Отдав шубу лакею, старик устало опустился на скамейку, скользнув по Иванчуку острым взглядом из-под густых желто-седых бровей. «Дряхлый, однако, черт!.. Лоб что старая

⁶ Иммануил Кант. «Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики» (нем.).

⁷ «Истинное и полное [описание] изготовления философского камня, данное братством Ордена гильденкрейцеров и розенкрейцеров. В коем сущность этой тайны поименована и само изготовление со всеми его приемами от начала до конца изложено...» (нем.)

кость», – подумал Иванчук. Ему очень хотелось узнать, кто это. Но узнать было не у кого. Он с полупоклоном приподнял шапку и вышел.

Иванчук вернулся домой в десятом часу, еще побывав в двух местах, – в одном по делу, в другом больше так, чтобы напомнить о себе людям. В гостях он не засиживался – не любил поздно возвращаться домой (хоть имел особое разрешение для выхода на улицу в ночные часы). Жил он вблизи Невского, в небольшой квартире из четырех комнат, которая была бы совсем хороша, если б парадная лестница была побогаче. К Иванчуку, впрочем, редко ходили приятели – он не всем сообщал и свой адрес. Но зато когда принимал гостей, то бывал очень хорошо расположен и всячески о них заботился.

Усталый и возбужденный, он возвращался домой пешком, внимательно всматриваясь в редких прохожих, шедших ему навстречу, и оглядываясь на тех, кто шел позади. Мысли его были заняты Настенькой. Не было надежды, чтобы она ждала его так поздно, но Иванчуку очень хотелось ее увидеть. Ему вдруг пришло в голову, что все его занятия и успехи, в сущности, ничего не стоят по сравнению с наслаждением и счастьем, которые давала ему Настенька. Эта мысль его удивила и растрогала. «Не бросить ли все, в самом деле, и не увезти ли ее в деревню? Право, надо бы подумать...»

Подходя к своему дому, Иванчук ускорил шаги, отпер дверь, затем поспешно повернул за собой два раза ключ в замке и еще для верности потянул дверь за ручку – точно кто-то за ним бежал и собирался ломиться в дом. Его сразу охватило чувство спокойствия и уюта, как после счастливо избегнутой опасности. Лестница была слабо освещена желтоватым огоньком сальной свечи, горевшей на первой площадке. Ковер на ступенях был лишь до второго этажа, да и то потертый и грязный. По нижней лестнице Иванчук шел на цыпочках (жилец бельэтажа, сердитый немец, не любил шума); на второй площадке он остановился и подумал, что сейчас за дверью сонно заворчит собачонка, та, что спит у капитанши Никитиной, на сером тюфяке, на пороге боковой комнатки, в которой помещается Володя, кадет первого корпуса, когда ночует у матери. «Сегодня, верно, дома; суббота...» Иванчук знал в подробностях все, что делалось в квартирах жильцов его дома и даже в соседних домах. Собачонка заворчала, и он удовлетворенно пошел дальше. На третьей площадке было уж совсем темно, но Иванчук и в темноте мгновенно, безошибочным движеньем, отыскал ключом скважину замка, отпер дверь и по отсутствию полосы света на полу коридора с грустью убедился, что Настеньки не было. Он вздохнул, засветил свечу и вошел в столовую. На столе стояли блюда, покрытые перевернутыми тарелками, и бутылка пива. Под ней Иванчук тотчас увидел бумажку, сложенную лодочкой, как всегда складывала письма Настенька. Он развернул листок и прочел. Записка была заботливая и нежная. Настенька извещала, что ждала его до половины девятого, потом ушла и что на малом блюде рубленая селедка с луком, «как вы любите», а на большом – телячья котлета и ее можно разогреть, и это лучше, чем есть холодной. «Прелесть какая милая», – подумал Иванчук с нежностью и даже хотел поцеловать записочку, да стало совестно. Он надел мягкие туфли, снял кафтан, галстук, повесил их, как им полагалось висеть, и с жадностью поужинал, думая, по давно заведенной привычке, во время еды только об еде, – так было много приятнее. Затем он перебрался в гостиную, которую особенно любил. В ней мебель была совсем новенькая, модная и блестящая: выкрашенная под красное дерево, с медузиными головками накладной латуни, обитая красным кашмиром, с красной бахромой и кистями. В гостиной немного пахло перцем, которым хозяин выводил моль. Иванчук сел в мягкое кресло, протянул ноги к печке и опять вернулся мыслями к Настеньке. Ему очень хотелось бы посидеть с ней по-хорошему. «Эх, надо было прийти раньше... Да, в самом деле, не бросить ли все это?» Его трогало, что он так сильно любит Настеньку; он попробовал представить себе жизнь без нее, – конечно, представить было можно, но жизнь выходила не та. «Не жениться же мне на ней, однако», – нерешительно подумал Иванчук и сам испугался, что подумал об этом так нерешительно. От усталости, от тепла, от еды и пива его сильно клонило ко сну. Он рассеянно снял нагар со

свечи и вспомнил, что кто-то сегодня при нем смешно назвал это по-французски: *moucher la bougie*⁸... «Страшный еще тоже был шкелет в кабинете того сумасшедшего... И что это он все кипятил?» Глаза у Иванчука стали маленькие. Он с усилием оторвал ноги от печи, поднялся и торопливо, пошатываясь, перешел в спальную. Кровать была постлана, концы розового стеганого одеяла вынуты из-под подушки и положены поверх наволочки. Это тоже было Настенькино дело, еще более трогательное, чем забота о селедке и о телятине. «Милая девочка», – сказал опять Иванчук и радостно подумал, как он завтра по привычке проснется ровно в шесть часов, вспомнит, что рано вставать не надо: воскресенье, – и тотчас снова заснет уже до десяти. Он быстро разделся, лег, вздрагивая от прикосновения холодной простыни, вытянул ноги под одеялом и с наслаждением уперся ими в тепловатую деревянную спинку кровати, так что в коленках захрустело. «С Настенькой было бы приятнее, но и так хорошо», – подумал он, согреваясь. На столике, рядом со свечой, графином и коробочкой карамели, лежала книга «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами (продажными)». Иванчук, зевая, вытащил конфету и с усилием развернул бумажку. Кусок бумажки пристал к конфете, но отскребывать не хотелось. Иванчук положил карамель в рот, постаравшись возможно скорее выплюнуть шероховатую бумажку, взял книгу и, скосив глаза набок, стал читать «утехи отца и матери и вообще удовольствия блаженного супружества». Книга была забавная, но и спать было очень хорошо. Карамель во рту растаяла. Иванчук почитал еще об уловках, проказах и шутках любовниц, все представляя себе при этом Настеньку, улыбнулся и вдруг, не поднимая головы от подушки, дунул. Пламя свечи метнулось в сторону, но не погасло. Он сделал отчаянное усилие, поднялся на локте и задул свечу. Хотел еще положить книгу на столик, но уже не мог. «Еще, пожалуй, стакан опрокину», – подумал Иванчук, засыпая.

III

Ламор уселся в кресло и внимательно осмотрел комнату.

– Вы у Демута остановились? – спросил Баратаев по-французски.

– Да, у Демута.

– Отчего же не у меня? Я вам предлагал свой дом.

– Благодарю. Зачем вас стесняют? Да и мне, пожалуй, здесь было бы невесело. Я хочу сказать, не так весело, как всегда... Это ваша лаборатория?

– Да.

– Я очень люблю химию... И алхимию... Ведь это, впрочем, одно и то же. Вдруг химия переродит мир, а? Я когда-то много спорил о перерождении мира с графом Мирабо. Умный был человек, чрезвычайно умный, хоть занимался всю жизнь пустяками. Так он и умер, от попыток возродить мир и от последствий сифилиса... Скучная, в общем, вещь история, а отдельные эффекты все-таки попадают блестящие и неожиданные. Вот я и думаю: что, если миру суждено переродиться самым неожиданным образом? Революция человечество, наверное, не накормит, а алхимия, может быть, и накормит. Сытое человечество, как сытый зверь, станет спокойнее, смиреннее и, вероятно, бездарнее. Но тогда вы, пожалуй, создадите в этой лаборатории гомункулуса? Только, пожалуйста, не «по образу и подобию Божию».

– Что ж, вы были у Панина? – спросил Баратаев. «Заладил с места», – подумал он угрюмо.

– Был. Умный и интересный человек, – очень, правда, беспокойный, как, впрочем, кажется, теперь вы все? У меня были к нему рекомендательные письма. Ведь дело между Россией и Францией идет к миру.

– А вы, собственно, зачем к нам пожаловали?

⁸ *Moucher* – вытирать нос; второе значение – снимать нагар со свечи (*франц.*).

– По просьбе первого консула. Он предложил мне съездить в Петербург, посмотреть, что делается, послушать, что говорится, и обо всем ему доложить. Не скрываю, у генерала Бонапарта сейчас здесь немало агентов, секретных, полусекретных и даже совсем почти не секретных. У первого консула, как у многих государственных людей, есть маленькая слабость к тайным агентам.

– Поговаривают у нас о здешней артистке, госпоже Шевалье.

– Я собираюсь к ней заехать. Сам я себя особенной тайной не окружаю да никаких таинственных поручений и в самом деле не имею. Только что паспорт не совсем настоящий, но у меня настоящего давно, давно нет, и зачем же непременно иметь настоящий паспорт? Первый консул вдобавок, я слышал, в большой милости у вашего монарха? Правда ли это?

– Не знаю... Меня мой монарх интересуется мало. Да и первый консул немногим больше. Зато у вас он в большой милости? По-прежнему?

– Нет, пожалуй, несколько меньше прежнего... Вы, помнится, меня когда-то упрекали, что уж слишком грубо я подхожу к людям и к жизни: главного будто бы не вижу и не понимаю. Может быть: я и сам иногда так думаю. А все-таки скажу: кого только я, древний старик, не встречал, кого не знал близко!.. Что ж, ошибался ли я в оценке людей, с которыми сталкивала меня судьба? Да, разумеется, бывало. Но как? Недооценивал? Нет, – истинно вам говорю – я переоценивал гораздо чаще. Теперь (уже довольно давно) я к каждому новому человеку подхожу с самыми худшими предположениями на его счет. Поэтому я остаюсь вполне равнодушным, когда мои предположения сбываются, а в случае ошибки испытываю приятное удивление. Так много спокойнее жить. Советую и вам попробовать... Руссо, король трагикомических писателей, утверждал, что человек рождается совершенным – и становится мерзавцем. Что, однако, если он и рождается, – скажем, не вполне совершенным? А то, в самом деле, откуда взялись бы и инквизиция, и драгоннады, и террор, и санфедисты, а?

– Так что же?

– И хоть бы счастье это ему давало, – нет, он вдобавок еще и несчастен. Я на своем веку видал с десяток счастливых людей – из них человек пять были круглые дураки, остальные пьяницы или, реже, фанатики. И хоть бы несчастье облагораживало, как это часто утверждают. Вздор! Никого оно не облагораживает. От вполне несчастных людей веет скукой – и только. Мы инстинктивно их избегаем... Я почему об этом заговорил?.. Да, вы спрашивали меня о Бонапарте. Спора нет, генерал Бонапарт – огромный человек. Однако и его историческую роль я несколько переоценил. Первому консулу достался в наследство от Директории большой публичный дом. Бонапарт медленно и верно перестраивает его в казарму. Разумеется, казарма во всех отношениях лучше публичного дома. Но это все-таки лишь казарма, а никак не Эдемский сад и не Платонова академия.

– Так вы рассчитывали на Эдемский сад? – с неприятным смехом сказал Баратаев. – Жаль, что разочаровались... Но зачем же вы продолжаете служить первому консулу?

Ламор помолчал.

– Вопрос правильный, и ответить мне нелегко. До 19-го брюмера было бы легче. Долго я ждал конца – и дождался. Сделано это дело было мастерски – вы, верно, уже слышали? Я был в день переворота в оранжерее Сен-Клу. Мне дано было стать свидетелем исторической расплаты за десять лет словоблудия. Не говорю, за десять лет преступлений: преступлений и теперь будет достаточно... Я слышал, как вдали раздался зловещий грохот барабанов. Я видел, как гренадеры Мюрата ворвались в залу заседаний. Это было незабываемое зрелище. Господа депутаты прыгали из окон дворца, путаясь ногами в своих величественных римских тогах. Все эти люди сто раз клялись лечь костями за дело свободы. Их здоровье сейчас, слава Богу, не оставляет желать ничего лучшего. Впрочем, я здесь, кажется, пристрастен. Знаю за собой некоторое недоброжелательство в отношении этих людей. Ведь цели-то у них были в конце концов недурные... Не люблю, не люблю самодовольства, – с внезапным раздражением сказал

Ламор. – А у этих передовых людей личики всегда так и сияют. За ними, видите ли, история! Радость какая, а? Один черт знает точно, за кем история. Может, и за ними... Большая дорога, кажется, в самом деле идет именно в этом направлении. Правда, и сворачивает иногда история с большой дороги. Вот теперь ее немного повернул Бонапарт. Будет трагическое интермеццо между скучноватыми действиями.

Ламор помолчал. Баратаев глядел на него угрюмо.

– Таким образом, с эстетической стороны я был вполне удовлетворен событием брюмера – грех жаловаться и чего же еще желать? Но этого, конечно, недостаточно для «исторического оправдания дела»... Прекрасное слово «историческое оправдание», – я всегда его любил. Прежде я думал, что мы с генералом Бонапартом спасаем остатки французской культуры. Но теперь начинаю подозревать, что она прекрасно могла спастись и без нас. Очень выносливая вещь – культура: вынесла халифа Омара, вынесла Аттилу, вынесла Тамерлана, – может быть, ее не погубили бы и еще лет десять – пятнадцать революции. Как вы думаете? Я говорю себе в утешение, что первый консул выполняет роль исторического сита: через него процеживается наследье умершего восемнадцатого столетия. Мне суждено было провести жизнь в этом столетии – грешный человек, я его люблю. Не скучал – и на том спасибо... Можно, можно кое-что оставить. Разумеется, немало дряни пройдет сквозь сито, немало ценного останется на сите – ничего не поделаешь. В общем, все-таки сито – вещь нужная. Только теперь, видите ли, во Франции началась «созидательная работа». А это совершенно не мое дело – снабжать деревни повивальными бабками. Трудно вообще от меня требовать политических восторгов, но у нас мне было особенно тяжело. Для старика, как я, нет ничего мучительней, чем новая жизнь на старом пепелище. Тяжело было смотреть, как разрушали, но право, легче было, чем теперь, когда строят. Они все теперь что-то строят, все во главе с первым консулом. Новое строят, и все точно повторяют: новое, новое, новое... Очень может быть, что это новое будет и лучше старого. Ненамного, конечно, лучше. Но смотреть мне на это было гадко. Я не прочь был съездить к вам в гости...

– Милости просим.

– Надо же что-нибудь делать. Только уж очень у меня разъехались мысли, и все труднее мне их связать, склеить, прилизать... Ведь чего живой человек за один день не передумает, а тем более за семьдесят лет!.. Есть люди, у которых не один, а несколько характеров. И добрый десяток умов на придачу. Я у нас во время террора мечтал о режиме Людовика XIV. Пышный двор, блеск, красота, а? Взять Лувр или Версальский дворец – ведь демократия таких не выстроит, правда? Или Notre Dame? Ни для университета, ни для парламента, ни даже для биржи эдакого храма не создадут... Что и говорить, не Бог знает какие орлы нынешние европейские монархи. Но все-таки сколько красоты унесут они с собой из мира, когда исчезнут навеки! Так я думал, сидя в Консьержери. А вот поживу у вас, вероятно, помяну добром покойного Робеспьера. Упокой Верховное Существо его бессмертную душу! Скажут, скажут мои мысли...

– А вы лечитесь.

– Не стоит: скоро умирать.

Он взял со стола книгу.

– Канта читаете! Я проездом был у него в Кенигсберге. Лучше было бы, если б не заходил: тяжело! Он впал в детство, не меняет больше белья, подвязывает чулки к пуговицам жилета. Уверял меня, что погода составила против него заговор... Очень тяжело смотреть. Я на своем веку, как, впрочем, все люди, видел достаточно разных *memento mori*!⁹ Чем *memento mori* банальнее, тем оно действительнее. Заметьте, что и мысли, связанные с *memento mori*, всегда очень банальны. Ну, труп, могила, черви – умного ничего не скажешь. Однако впавший в полу-

⁹ Помни о смерти (*лат.*).

идиотизм Кант – это такое зрелище, которое не может изгладиться из памяти. Другой об этом забудет, а вспомнит «Критику чистого разума». Я «Критику» помню, но и этого при всем желании никак не могу забыть... А за всем тем что ж?.. Вы говорите, я все ненавижу. Это неверно. Я многое люблю. Природу очень люблю. Не то что какую-нибудь долину Колорадо (красивей я ничего не видал) – нет, самую обыкновенную природу: где есть вода, и солнце, и зелень, там и чудесно. Даже в вашем петербургском холодном ветре есть своя прелесть. Музыка тоже очень люблю. Умные книги еще больше люблю. Только ум и талант ведь и живут вечно. Ну, не вечно, так долго. Теперь я, впрочем, мало читаю, больше о делах инквизиции, о делах революции, – чтобы приятнее было, знаете, покидать эту милую землю... Да, кстати о книгах, я вам привез подарок, зная, что вы занимаетесь химией.

Он вынул из кармана небольшую тоненькую книжку в белом кожаном переплете.

– Что это такое?

– Это автобиография алхимика XV столетия, графа Бернарда Тревизского, довольно редкое издание. Прелестная вещь... Граф был очень славный, доверчивый человек, от всего сердца любивший науку. На нее, на опыты, на путешествия в поисках философского камня, он потратил все свое состояние. Очень он трогательно рассказывает, как его надували разные нехорошие люди. Так и дожил, бедный, до седых волос. Впрочем, я вам прочту.

Ламор перелистал книжку и, отыскав нужную страницу, стал читать:

– «Et par ainsi le despendy en ces choses, que cherchant que allant, que pour esprouuer, que pour aultre chose bien dix mil trois cens escuz & fuz en moult grade pouurete et si n'auoye plus guerres d'argent. Aussi l'estois ia vieulx de soixante deux ans & plus, & encoires quelque martire que j'eusse, peine, & souffreté, & vergoigne, qu'il me falloit laisser mon pays...»¹⁰

Он засмеялся:

– Наконец старик обозлился. Ругает этих шарлатанов последними словами, кричит: «trompeurs! larrons pendables! И советует бежать от них как от чумы: «Laissez sophistications, & tous ceulx qui y croient, fuyez leurs sublimations, coniunctions, separations, congelations, preparations, disiunctions, conexions & aultres deceptions». Я обрадовался, прелестный ведь старичок... Но выводом своим он меня порадовал еще гораздо больше.

– Каким выводом? – с раздражением спросил Баратаев.

– Оказывается, другие алхимики действительно идиоты и обманщики, но сам-то граф все-таки открыл великую тайну: «Car il n'y a aultre vinaigre que le nostre, ne aultre regime que le nostre, ne aultres coulleurs que les nostres, ne aultre sublimation que la nostre, aultre solution que la nostre, aultre congelation que la nostre, aultre putrefaction que la nostre...»¹¹

Старик засмеялся снова:

– Дарю вам это полезное сочинение.

– Благодарю за подарок. Я все же удивляюсь вашей смелости. Издеваться над тем, о чем не имеешь представления... Впрочем, бросим это.

– Да, бросим.

Ламор положил на стол книгу.

– Как вы знаете, я имею к вам и масонское дело, – сказал он, помолчав.

– Знаю.

– Мы в прошлом году воссоздали Великий Восток Франции. Во главе его Ретье де Монтало. Уже действует несколько десятков лож, мы решили возобновить и международные связи.

¹⁰ «И таким образом я потратил на те вещи, которые искал и изучал, которые исследовал, а также на иные вещи десять тысяч триста эку и дошел до последней степени бедности и не имею более средств. И теперь я старик, мне более шестидесяти двух лет, я подвергался разным мучениям, испытывал горе, страдания и позор, и мне пришлось покинуть мою страну» (франц.).

¹¹ «Обманщики, мошенники, достойные виселицы!.. Бросьте эти подделки и всех, кто в них верит, бегите от их сублимаций, соединений, отделений, замораживаний, приготовлений, разделений, связей и прочих обманов» (франц.).

Сношения с Россией у нас прежде были довольно тесные – кому же и знать, как не вам? Мне поручено побеседовать в Петербурге с вами, еще кое с кем. Я уже говорил с генералом Талызиным. Он просит меня подробно их со всем ознакомить.

– Ну что ж, вы и ознакомьте.

– Талызин пригласил меня к себе на ужин для разговора.

– Я знаю, он звал и меня. Вы о чем будете говорить?

– Хотел бы о многом, да не знаю, стоит ли? Ведь мне состав слушателей неизвестен.

– Будут люди умные и порядочные.

– И по-французски все понимают?

– Разумеется.

– Тогда я, быть может, поделюсь некоторыми своими мыслями. Говорил я во Франции, послушаю, что вы скажете...

– Так вы вернулись к масонству?

– Формально я всегда к Нему принадлежал... Но теперь увлечен его идеями больше, чем полвека тому назад. В мире дьяволу принадлежит все, а в масонстве только как-никак пятьдесят процентов. Ведь я, быть может, самый старый масон из всех ныне живущих на свете. Надеюсь, вас не очень удивят мои последние мысли. Я во многом гораздо ближе к вам, чем вы думаете. Вот только обхожусь без скелета и без этих картинок для малолетних. Да и вы их, должно быть, повесили на стену лет тридцать тому назад, правда? Не снимать же на старости, я понимаю. Есть масонство общедоступное. Оно ни меня, ни вас не интересует, оно мало отличается от других религиозных учений. Разве что совместило с моральным совершенствованием производство в высшие степени, что-то вроде служебного повышения... И есть символы большой глубины, есть величественная поэзия мысли. Я верю, что наш орден был основан Соломоном. Но к этому масонству можно прийти, только подарив окончательно мир дьяволу. Говорю аллегорически – вам, конечно, моя мысль понятна?

– Больше, чем понятна. Однако сомневаюсь в том, чтобы мы могли с вами сойтись... Может быть, в отдельных взглядах, но не в главном. Главное от вас всегда ускользало. Я давно вас знаю – и слышал от вас много самых разных речей... Слова и мысли были разные, а тон всегда один и тот же... Вы уж во всяком случае не из тех людей, у кого несколько характеров. Души у вас и одной не найдется. И упрекал я вас никак не в грубости мысли, а именно в этом: тяжел, очень тяжел и однообразен тон вашей души...

– Ведь и у вас он, кажется, нелегкий? Вы все-таки послушайте то, что я скажу у Талызина... Что за человек, кстати, Талызин?

– Прекрасный человек. Умный и благородный.

– Влиятельный?

– Не думаю, – сказал Баратаев с удивлением. – У нас кто же влиятелен? Ростопчин, Кутайсов...

– Вы их знаете?

– Желал бы не знать...

– Могли бы меня с ними свести?

– Нет, увольте. Всего влиятельнее сейчас, кажется, люди из Тайной экспедиции. Но им нельзя руку подать.

Ламор усмехнулся.

– Руку можно подать кому угодно, – сказал он, глядя на часы, – я здоровался бы с Картушем... А о Палене вы что думаете?

– Очень умный человек.

– Да, по-видимому, Я не знаю, чего он хочет. Но он зато прекрасно это знает, – что бывает не так часто, особенно у вас в России... Так вы ко мне приезжайте, давайте пообедаем вместе? Хорошо кормят внизу у Демута. Неаполь вспомним... Очень милая была тогда у вас дама...

Он быстро взглянул на Баратаева.

– Эх, тяжело нам, старикам, – сказал как бы рассеянно Ламор. – Вот теперь немцы выдумали теорию трагедий. Знаете, в чем сущность трагедии? В воле, лишенной возможности осуществления. В воле, в желании, все равно. Если это есть, значит, налицо основное условие трагического конфликта. Уж эти немцы: глубокомысленный народ, только совершенно лишены чувства смешного. Говорят, и Эсхил на этом построен, и Софокл, и Корнель. Теперь еще Шекспир очень в моду входит... А в мое время он считался образцом дурного вкуса: темная вещь искусство – никто никогда не узнает, что это такое. Так, видите ли, и Шекспир построен на этом. Казалось бы, мы, старики, готовые трагические герои. А вот нет, занимаются нами одни комические писатели – да еще как: одного Мольера вспомнить! И действительно смешно: не нам с вами, разумеется, а им, молодым. Но есть старички брюзжащие, вот как мы с вами. Это куда ни шло – по крайней мере, естественно. Зато я ужасно боюсь старичков, «сохранивших молодую душу»: они всегда за все новое, свежее, за молодежь и этак благодушно, видите ли, радуются на юношей и особенно на девушек: мы, мол, пожили, теперь ваше время, веселитесь, детки, веселитесь. Детки, дурачки, верят. Таких-то старичков они особенно и любят... Одно только устроено умно, то, что мы черствеем с годами и не так все это чувствуем. Да и смерть – чужую – переносим легче... Ну, я заболтался. Прощайте, до скорой встречи, – сказал Ламор, поднимаясь.

IV

...«La tyrannie et la démente sont à leur comble...»¹²

Панин имел привычку обдумывать важные депеши, расхаживая по своему огромному кабинету. В комнате было полутемно. Только на письменном столе горели свечи и в камине слабо светились последние тлеющие уголья. Никита Петрович еще прошелся раза два большими неровными шагами из угла в угол, повторяя вслух вполголоса свои мысли, по привычке замкнутого человека: депеша к Семену Романовичу Воронцову была готова.

Панин подошел к двери, запер ее на ключ, затем сел за письменный стол, вытащил из ящика лимон и разрезал его пополам, морщась от скрипа тупого ножа, с трудом входившего в корку, и от брызнувшего на стол сока. Он выжал в стеклянную рюмку сок из половины лимона. В мутную, чуть желтоватую жидкость упало несколько зернышек и волокон. Наклонив левой рукой рюмку над корзиной, Панин вытащил зерна концом ножа. Мокрая косточка, минуя корзину, упала на ковер. Никита Петрович раздраженно поставил рюмку рядом с чернильницей.

«Совсем расшаталась душа, эдак нельзя», – подумал он и успокоился. Он просидел минуты две, старательно разглаживая средним пальцем золотой шероховатый позумент, окаймлявший темно-зеленую кожу стола. Затем взял одно из свежечиненных перьев, опустил его в рюмку и стал писать. Лимонный сок только секунду блестел на плотной бумаге, затем высохшие буквы исчезали, и писать было поэтому утомительно. Не отрывая от бумаги пера, чтоб не попасть им на то же место, Панин набросал несколько строк. Затем с недоверием взглянул на белый по-прежнему лист, на котором быстро высохли последние слова.

«Si j'essayais? C'est pourtant bien ainsi qu'on le fait»,¹³ – подумал Никита Петрович. Ему еще не приходилось писать симпатическими чернилами. Он пододвинул к себе свечу и помахал исписанным листом высоко над пламенем. Бумага осталась белой. Панин опустил ее значительно ниже. Вдруг выступили желто-оранжевые строчки, и в ту же секунду приятно запахло горелой бумагой. Никита Петрович отдернул лист с восклицанием досады.

¹² «Тирания и безумие дошли до предела...» (франц.)

¹³ «А если попробовать? Они делают это хорошо» (франц.).

«Да, все совершенно ясно, – подумал он, читая. – C'est très commode en effet».¹⁴

Панин представил себе, как Воронцов будет тоже тайком, в запертой комнате, над свечой, проявлять депешу. Он хмуро усмехнулся. Ему странным показалось, что он, граф Панин, вице-канцлер Российской империи, должен из боязни полицейского надзора, из страха перед какими-то подьячими Тайной канцелярии, прибегать к воровским приемам для сношения с русским посланником в Англии, с Семеном Романовичем Воронцовым, одним из самых уважаемых и самых знатных людей России. «C'est du propre! – произнес он вполголоса. – D'ailleurs, cette fois-ci il n'y a rien à craindre: La Тайная ne l'aura pas...»¹⁵

Он повернулся в кресле и выплеснул жидкость рюмки в камин. Уголья слабо зашипели. Панин взял другой лист бумаги и стал писать обыкновенными чернилами. Во второй редакции французские фразы выливались стройнее и глаже.

«Je connais parfaitement, mon respectable ami, tout ce que vous devez souffrir en apprenant chaque jour quelque sottise nouvelle de chez nous, et je ne vous déguiserai pas que le mal va en empirant, que la tyrannie et la démence sont à leur comble...»¹⁶

Фраза эта опять взволновала Панина. Он вскочил и зашагал по кабинету. Те мысли, которые Никита Петрович тысячу раз повторял в последнее время, представились ему с новой силой.

«Ежели мы, высшая аристократия страны, не положим конца царствованию, то народ возьмется за вилы, – сказал он себе. – Опять будет в прямом ознаменовании та же жакери, о которой по вечерам в Дугине, содрогаясь, рассказывал покойный батюшка. Il s'agit, cette fois, du salut de la Russie.¹⁷ Нельзя государству быть управляему безумцем».

На мгновение ему представился последний прием у императора, хриплый бешеный крик, глаза с остановившимися зрачками. Панин вздрогнул и зашагал быстрее, укоротив неровные шаги.

«Du moment qu'il en est ainsi, il n'y a pas de serment qui tienne,¹⁸ – сказал он себе решительно. – Да, впервые в истории нашей фамилии Панин берет такую дорогу. Mais entre le monarque et le pays, je choisis mon pays.¹⁹ И батюшка, и дядя Никита Иванович поступили бы точно так же. Когда своеволие царей приходит в коллизию с интересом России, Панины выбирают Россию... Я не Ростопчин...»

Граф Панин, человек богато одаренный, безукоризненно порядочный и во многих отношениях весьма замечательный, не обладал тем особым сочетанием цинизма с энтузиазмом, которое нужно и свойственно настоящим политическим деятелям. Его природная нелюбовь к людям не выливалась в форму совершенного равнодушия, для политических деятелей весьма полезную, позволяющую им хладнокровно мерить друг друга и все на свете одной политической меркой. В Панине эта особенность характера переходила в тоскливое, безотрадное и несовместное с политикой состояние вечной мнительной раздраженности. Он думал схемами, но обнаженными нервами воспринимал людей. Ненависть к Федору Васильевичу Ростопчину, прошедшая через всю жизнь графа Панина, имела причиной не одно политическое разномыслие. Все было ему противно в Ростопчине: и его взгляды, и, еще гораздо больше, его круглое пухлое личико, волосы змейками и брови, высоко поднятые над круглыми выпученными глазами, его самоуверенный, трещащий голос, его французские шуточки, его калам-

¹⁴ «В самом деле, это очень удобно» (франц.).

¹⁵ «Вот мерзость!.. Впрочем, на этот раз бояться нечего: Тайная не узнает...» (франц.)

¹⁶ «Я вполне себе представляю, мой почтенный друг, как вы должны страдать, каждый день узнавая о какой-нибудь нашей новой глупости, и я не скрою от вас, что зло усиливается, что тирания и безумие дошли до предела...» (франц.)

¹⁷ «На сей раз речь идет о спасении России» (франц.).

¹⁸ «В такое время, как сейчас, никакая присяга не удержит» (франц.).

¹⁹ «Но между монархом и страной я выбираю мою страну» (франц.).

буры, его фамильярно покровительственный тон. Воспитанный в строгих традициях семьи Паниных, вице-канцлер любил холодок в отношениях с людьми. В детстве отец даже по-русски обращался к нему на «вы» и называл мальчика «любезнейший и драгоценнейший друг, граф Никита Петрович». А сам он свои письма невесте, в которую был нежно влюблен, подписывал словами: «с неограниченной преданностью, на справедливейшем почтении основанною, вашему сиятельству вернейший граф Панин». Вице-канцлер по должности был подчинен Ростопчину как первоприсутствующему в Коллегии иностранных дел, и всякий раз, отправляясь в коллегию, Панин нервно себя спрашивал, как кончится заседание: отставкой, скандалом, дуэлью? Обычно Никита Петрович успокаивал себя тем, что он – граф Панин, сын знаменитого полководца, спасшего Россию от пугачевщины, племянник еще более знаменитого государственного деятеля, продолжающий их большое жизненное дело: для себя ему ничего не было нужно.

Он вернулся к столу, сел в кресло и опустил голову на руки. Панин чувствовал себя все хуже и не раз с тревогой задумывался, выдержит ли до конца то страшное дело, которое составляло теперь цель его жизни. Никита Петрович знал, что о заговоре уже ходят зловещие слухи, и все себя спрашивал, откуда они пошли. Предателей быть не могло. Он снова перебрал в уме еще немногочисленных участников заговора и, настраиваясь недоброжелательно к каждому из них, не мог, однако, найти никого, кто был бы способен на предательство. «Пален уверяет, что сама жизнь творит слухи о заговоре и что все равно мы теперь каждый день разыгрываем жизнь в кости. *Il a raison, au fond.*²⁰ Он всегда прав, Пален, – думал вице-канцлер, вспоминая холодное лицо с вечной усмешкой в углу плотно сжатых губ. – Но надо иметь его железную душу, его сердце старого игрока. Для него заговор – та же партия бостона, только с более высокой ставкой. *Et il la joue en indépendance...*²¹ – Панин усмехнулся своей шутке. – Он не привязывает цены к жизни, а до России ему нет дела. Он и не русской крови... Среди них я один русский. Еще Талызин...»

Он посмотрел на часы и позвонил, вспомнив, что в этот день у Талызина назначен прием, на котором должен сделать важное сообщение заезжавший к нему старый француз. Через полминуты ручка двери повернулась. Панин вздрогнул, кровь отхлынула у него от лица. «Забыл, что сам запер дверь на ключ... Да вздор какой! *Je deviens fou!*»²² – прикрикнул он на себя мысленно.

– Вели заложить карету, – сказал Панин лакею, открыв дверь.

«Первым делом надо бы поехать в Дугино отдохнуть, – подумал он, с наслаждением себе представляя свое любимое имение, засыпанные снегом аллеи в великолепном парке, застывшее пустынное озеро. – И главное, кругом ни живой души, это то единое, что мне нужно...»

Общество людей, даже тех, кого он любил и уважал, было в последнее время мучительно тяжело Панину. Все его раздражали. Значительная доля его душевных сил уходила на то, чтобы скрывать нервное раздражение, в котором он находился почти постоянно. «Да, пожить там, отдохнуть и, вернувшись, довести дело до доброго конца. *A bonne fin, c'est bien le mot...*»²³ Лицо его дрогнуло.

Целью заговора считалось отречение Павла. Участники дела, иногда, не глядя друг на друга, упоминали о загородном дворце, куда можно было бы поместить на остаток его дней открекшегося императора. При этом усмешка на лице графа Палена становилась еще более странной.

²⁰ В сущности, он прав (*франц.*).

²¹ Термин игры в бостон. Так называется партия, которую один из игроков разыгрывает самостоятельно, без помощи партнера. – *Автор.*

²² «Я схожу с ума!» (*франц.*)

²³ «До доброго конца – хорошо сказано» (*франц.*).

«Да, конечно, девяносто шансов на сто, что дело кончится убийством, или застенком, или тем и другим вместе... Ну а в самом лучшем случае, *admettons, soit!*²⁴ Дальше что? Лишить самодержавной власти безумца и передать ее мальчику, у которого ничего на уме, кроме юбок и танцев. Всю полноту власти над миллионами людей! *Mais c'est de la folie!*»²⁵ – вскрикнул Панин. Вечные мысли о конституции, об усилении роли аристократии, об увеличении прав Государственного совета беспорядочно теснились в его голове.

«*Oui, c'est tout réfléchi,*²⁶ но с кем делать все это? Кто последует за мной в этом пути? Лорд Уитворт? Или балтиец Пален, *un joueur*²⁷ производящий опыт со своей душой? Или разные мелкие авантюристы, дичь виселицы? Кто у нас думает об этом? Даже Семен Романович против конституций. Он убежден, что в России нечего делать людям добра и что *au fond* им всем следовало бы переехать в Англию. И никогда он из Европы не вернется... Не с кем идти, и не для кого, и незачем! Человеку, как я, здесь одна дорога: на виселицу или в сумасшедший дом...»

– Карета подана, ваше сиятельство, – доложил лакей.

V

О генерале Талызине почти никто в Петербурге не говорил дурно – признак, обычно свидетельствующий не в пользу человека. Во всяком обществе, где идет ожесточенная политическая борьба, есть люди, в этой борьбе определенно участвующие и не вызывающие, однако, ни раздражения, ни ненависти в противоположном лагере. Такие люди встречаются во всех партиях, и каждой партии они нужны: история редко сохраняет их имена, но при жизни роль их бывает значительна. Чаще всего это люди ленивые, добродушные и слабовольные, которых и по фамилии редко называют за глаза, а больше уменьшительным именем или пренебрежительно ласковой кличкой. Иногда это, напротив, очень расчетливые ловкие люди, честолюбивые не в историческом, а в карьерном масштабе. И только в виде самого редкого исключения попадают политические деятели, обезоруживающие противников своими моральными качествами.

Талызина любило все петербургское общество. Он был молод, богат, вел широкую жизнь, имел превосходный стол. Но хлебосольством в Петербурге никого нельзя было удивить. У Талызина в доме бывали люди враждебных групп и воззрений, вследствие чего ему приходилось устраивать тройное количество приемов: среди его приятелей или добрых знакомых много было людей, которых никак не полагалось звать вместе в один вечер. Талызин обладал таким опытом, так хорошо знал сложные взаимоотношения своих бесчисленных гостей, что в доме его не могли встретиться люди, не желающие видеть друг друга, – разве только в намерение хозяина именно и входило свести для примирения этих людей.

Престижу Талызина в петербургском обществе способствовало еще и то, что он был деятельным масоном и не скрывал этого. В последние годы восемнадцатого века от масонов в России немного отвыкли. О Новикове вспоминали почти так, как о графе Калиостросе. Немало видных, почтенных людей в молодости принадлежало к масонству. Некоторые из них, однако, теперь плохо помнили и почему вошли в орден, и в чем это у них, собственно, выразалось. Талызин представлял в масонстве новое направление. Носились слухи, будто оно ведет важную политическую работу (по словам одних, в согласии с государем, по словам других, вопреки, и даже очень вопреки, его воле). Ложи иногда собирались у Талызина. Посещавшие генерала молодые люди с любопытством у него осматривались и спрашивали друг друга втихомолку,

²⁴ «Допустим, пусть так!» (франц.)

²⁵ «Но это безумие!» (франц.)

²⁶ «Да, это все обдуманно» (франц.).

²⁷ Игрок (франц.).

где же, собственно, заседают фреймasons: комнаты как комнаты, – уж нет ли потайных дверей? Талызин, командовавший Преображенским полком, жил в Лейб-Компанском корпусе в большой, полагавшейся ему по должности, квартире.

Когда граф Панин вошел в кабинет Талызина, там уже собрались гости. Их было человек пятнадцать. В этот день не было заседания масонской ложи. Талызин пригласил на ужин одну из групп своих друзей, ту, с которой он был связан всего теснее. Гостям было, однако, известно, что зовут их не только на ужин и что, по всей вероятности, доклад о событиях во Франции прочтет прибывший в Петербург иностранец, занимающий очень высокое положение во французском масонстве.

Дипломатические сношения с Францией еще не были восстановлены. Ходили слухи о предстоящих мирных переговорах и о людях, уже будто бы ведущих эти переговоры втайне. Тем не менее с республиканским паспортом проникнуть в Россию было невозможно. Гости догадывались, что человек, прибывший из Парижа, вероятно, приехал на правах нейтрального подданного или французского эмигранта: эмигранты в последнее время попадались самые различные. Впрочем, это никого не интересовало: в петербургском обществе и в пору войны не было ненависти к французам. В масонских же кругах национальность приехавшего гостя не имела никакого значения. И только один граф Панин, как вице-канцлер и как сторонник противофранцузской коалиции, почувствовал некоторую неловкость, здороваясь с дряхлым стариком, сидевшим в кресле между хозяином и Баратаевым. Это неловкое чувство, однако, очень скоро рассеялось. Гость обнаружил чрезвычайное внимание к Панину. Он тотчас подсел к нему и завел с ним вполголоса отдельный разговор, который, по-видимому, оживил обоих.

Другие гости тихо между собой переговаривались. Общий разговор еще не налаживался. Это никого не тяготило. У Талызина все чувствовали себя свободно. Несколько неясно было только, что именно ожидалось, кому и как начинать беседу. Но все хорошо знали, что Талызин всегда все устроит вовремя и как надо. Один Баратаев молча неподвижно сидел в кресле у окна, глядя на висевшую против него на стене богатую коллекцию ружей, турецких сабель и кинжалов.

Хозяин вышел в столовую отдать последние распоряжения. Круглый стол посредине ярко освещенной комнаты снял белоснежной скатертью, серебром и фарфором. Старый лакей расставлял корзины цветов и вазы с фруктами. Талызин заботливо все оглядел, затем перешел к столу с закусками.

– Не растаял бы лед, Никифор, – сказал он старику. – Раньше как через час-полтора к столу не пойдём. Ты еще принес бы...

Он бегло взглянул на сторбленную фигуру лакея, на его утомленное лицо со стариковским недоверчиво-робким выраженьем и, как всегда, испытал мучительное чувство неловкости. Неприятно было заставлять служить такого старика; еще неприятнее было говорить ему «ты», особенно в масонском кругу. Талызин не раз собирался перейти на «вы», но чувствовал, что это невозможно. «Хуже всего фальшь, – подумал он. – Легче у нас опровергнуть трон, чем это переделать...»

По долговому опыту он знал, что такие мысли не имеют решительно никакой связи с жизнью и ничего в ней изменить не могут.

– Поддай в кабинет сахарной воды, – сказал он лакею. – Сам поддай, а потом никому не вели входить. У нас дела.

Талызин вспомнил, что ему недавно опять говорили, будто дом его находится на замечании у Тайной канцелярии. «Молву поветрием носит... Надо бы принять меры».

Он давно поставил себе правилом верить каждому человеку, пока не будет обнаружено, что верить ему не следует. Хотя обнаруживалось это часто, Талызин не отступал от своего правила. Но теперь дело шло о жизни, и притом не только об его собственной. За себя он почти не беспокоился. Талызин сел верхом на стул, опустил подбородок на спинку и постарался пред-

ставить себе ясно Тайную канцелярию, одно название которой вызывало у всех ужас. Контраст казематов и застенков с роскошной столовой позабавил его. «Ну что ж, каземат так каземат, надо пройти и через это... Может, и вправду настал последний квартал моей жизни, – сказал он себе почти весело и тут же подумал, что только масонство дает ему такую внутреннюю свободу. – Да, это большое счастье! Каземат так каземат... А вот застенок так застенок – этого я не скажу. Да и в каземате было бы жаль вспоминать... Там, конечно, все это получит в мыслях особенную прелесть», – думал он, представляя себе ясно койку полутемного сырого каземата, черствый хлеб и кружку ржавой воды. Он окинул меланхолическим взглядом ананасы, розы, зажженные свечи, вина, разлитые по графинам, темно-серые зерна икры на льду в серебряной вазе. «Да, все это очень красиво: забывают ведь, как красив хорошо накрытый стол... Так что же? Надо вправду принять меры. Но какие меры? Хороша наша конспирация! Только Пален и знает это дело... Впрочем, Бог даст, и не пропадем за ним да за Александром Павловичем. А пропадем, так за доброе дело... К тому ж нынче об этом разговора не будет».

Он улыбнулся, встал, взял у лакея поднос с графином и сахарницей и вернулся в кабинет. На ходу он встретил неподвижный взор Баратаева, с беспокойством взглянул на свою коллекцию оружия и тотчас снова перевел взгляд на мрачное, измученное лицо гостя. «Краше в гроб кладут», – подумал он и поставил поднос на столик перед Ламором. Старик удивленно взглянул на Талызина. Другие гости, напротив, оживились. Графин придал определенность собранию, указав ясно на то, что французский гость сделает доклад. Хозяин сел и постучал по столу. Разговоры замолкли.

– Дорогие друзья, – начал Талызин по-французски (собрание было не формальное, и потому он не говорил «братья»), да и вообще избегал этого слова, хотя был убежденным и деятельным масоном). – Только два слова... Я сердечно рад приветствовать сегодня здесь нашего гостя. Вы о нем знаете, не мне его вам представлять, и не в нашем тесном кругу говорить друг другу комплименты. Я к тому же, как вы знаете, и не оратор. Однако я считаю себя обязанным сказать со всей искренностью следующее (он помолчал). Еще недавно кровь лилась ручьями на полях Италии, в швейцарских горах. Мы все, французы и русские, исполнили свой долг, как могли, но ненависти не было и нет в наших сердцах. Есть нечто высшее, чем наш долг национальный: это наш масонский, наш человеческий долг! Теперь война, по-видимому, кончена, я надеюсь, надолго, навсегда. Позвольте же от вас всех приветствовать нашего дорогого французского гостя.

Он встал и крепко пожал руку Ламору. Все сделали то же самое. Талызин еще поговорил несколько минут, с приемами неопытного оратора. «Еще два слова», «я, конечно, не оратор», «если я ясно выражаюсь», «это только мое личное мнение», «я могу, конечно, ошибаться», – часто повторял он. Панин слушал его, слегка улыбаясь и закрыв глаза.

– К большому нашему огорчению, – заметил Талызин, – нам очень мало известны и плохо понятны важные события, недавно произошедшие во Франции. Мы были бы чрезвычайно признательны нашему гостю, если б он поделился с нами и сведениями, и своими ценными мыслями.

Он замолчал и вопросительно взглянул на Ламора. Старик сказал кратко:

– Сердечно вас благодарю. Я охотно исполню ваше желание.

VI

Он долго молчал, видимо собираясь с мыслями, и это начинало тяготить собравшихся.

– Да вы что же, собственно, хотите знать, господа? – неожиданно спросил Ламор. Все почувствовали легкое разочарование.

– Мы желали бы прежде всего услышать ваш рассказ о перевороте 18 брюмера, – вежливо сказал Талызин, испытывая некоторую неловкость при слове «брюмер». Ему трудно было

произносить это слово без той усмешки, с какой говорили о революционном календаре французские эмигранты; трудно было и представить себе, что оно кем-то произносится всерьез. – Это чрезвычайно важно и интересно.

– Восемнадцатое брюмера? – протянул Ламор. – Да что же тут рассказывать? Переворот, обычный военный переворот, устроенный очень умным генералом, необыкновенно умным и удачливым генералом. Да и так ли это вам интересно? Вы говорите: чрезвычайно важно... Я знаю, что вижу здесь цвет петербургского общества, – поспешно сказал он. – Почитать о французских делах в газетах, поговорить за обедом, отчего бы и нет? Но может ли это быть чрезвычайно важно для вас? Ох, из разных трудных, бесстыдных слов мне всего труднее говорить слова о братстве народов... Если бы вы жили у нас немного перед Девятым термидора, вам восемнадцатое брюмера было бы понятно без объяснений. Знаете ли вы, что такое право покупать каждый день хлеб у булочника? Право есть в обед три блюда по единоличному вашему усмотрению? Право воспитывать детей так, как вы находите нужным? Право переселиться из Лиона в Париж, с уверенностью, что вас, без крайней необходимости, не зарежут ни в Париже, ни в Лионе, ни по дороге? Вот эти великие священные права нам дал генерал Бонапарт. И вместо них он отобрал у нас некоторые другие права, из тех, что перечислены во всевозможных декларациях прав человека и в другой плагиатной литературе того же рода. Свобода слова, свобода печати, свобода мысли, всеобщее голосование! Эти права также назывались священными, великими и (что всего лучше) неотъемлемыми. Собственно говоря, даже они одни так назывались прежде. Было бы очень хорошо, конечно, если б можно было иметь и булочника, и всеобщее голосование. Но у нас точно назло пришлось выбирать: либо булочник, либо всеобщее голосование. Никакого теоретического противоречия между ними нет, я знаю. Но так, к несчастью, вышло. И вот тридцать миллионов людей выбрало булочника. Без декларации прав как-нибудь обойдемся, а есть и пить хотим каждый день. Без свободы слова проживем (хоть и очень приятно чесать язык), а на эшафот идти ни под каким видом не желаем. Довольно! Помолитесь на Робеспьера, и будет. Генерал Бонапарт застраховал от гильотины, от Консьержери, от разбоя, от разорения тридцать миллионов французов – и они за это смотрят на него теперь как на земное воплощение божества. А для тщеславья нашего он, поверьте, найдет, вместо народных трибун, какие-либо другие утешения – ордена, чины, красивые мундиры, не знаю... Вот и весь смысл восемнадцатого брюмера, другого не ищите. Вам, может быть, скажут, что французский народ опьянен военной славой, – не верьте, вздор! Это генералу Бонапарту пирамиды нужны, а французский народ – помилуйте, зачем они ему, пирамиды. Ведь это тоже из шутки «общенациональной собственности». А нам и слава нужна в частную собственность, в частную. Пирамиды – та же, в сущности, декларация прав: есть – прекрасно, нет – ну и не нужно. На самом же деле необходимо только одно: чтобы на каждой улице были булочник, мясник, кофейня и полицейский.

Один из гостей, почтенный старый генерал, одобрительно кивнул головою. Генерал этот, связанный тесной личной дружбой с Талызиным, видимо, еще не был своим человеком в собравшемся обществе и чувствовал себя в нем не вполне свободно. И лица гостей, большей частью неестественно торжественные, и некоторые предметы, украшавшие стол: голубая бархатная скатерть с золотым галуном и бахромою, меч с золотой рукояткой в голубых бархатных ножнах, тяжелые серебряные шандалы с аллегорическими фигурами, видимо, не внушали доверия генералу. Особенно подозрительно он с самого начала поглядывал на мрачную фигуру Баратаева и на неизвестно зачем прибывшего таинственного французского гостя. Но речь Ламора оказалась для генерала приятной неожиданностью. Остальные гости молчали – никто не хотел высказываться первым.

– Позвольте вам сказать, – заметил Талызин с улыбкой недоумения, показывавшей, что он склонен понять слова гостя как шутку, однако считает ее не слишком удачной. – Я не совсем,

вероятно, вас понял: ведь булочники у вас были и при старом строе. Самые закоснелые эмигранты согласятся с этими мыслями.

– Разве? Может быть, может быть... Не со всеми, конечно, моими мыслями они согласятся... Да и очень уж они красноречие любят. У них ведь свои «декларации», и даже похуже тех. Я не эмигрант, но против эмигрантов ничего не имею. И закоснелых людей вообще люблю: живые ведь люди, а не рассуждающие автоматы. Впрочем, я ничего не имел бы и против рассуждающих автоматов, если б было из чего исходить рассуждениям. Вот у Евклида все вытекает из аксиом, и как это приятно! Слава Богу, есть, есть аксиомы. Где же наш политический Евклид? Где политические аксиомы? Я не знаю в настоящее время ни одной общепризнанной ценности. Благо лица? Благо государства? Его процветание? Его могущество? Все это противоречиво. Ведь во Франции, в Англии, в России, с их войнами, завоеваниями, переворотами, люди живут, наверное, много хуже, чем в какой-нибудь «свободной Швейцарии», у которой и истории-то ровно на медный грош? А между тем вы, конечно, отказались бы сделать из России Швейцарию. Да и сами швейцарцы, когда были свободны (если когда-либо были), наверное, стыдились своего тихого благополучия. Маленькие народы всегда выдумывают себе бурную историю. Нет хуже вралей, чем провинциальные Плутархи.

– Однако, если даже не существует политических аксиом, в чем я сомневаюсь, – заметил Талызин, – то есть учреждения, относительно которых сошлись все честные люди. Ну, назову рабство...

– Это особенно приятно слышать из уст рабовладельца, – сказал Ламор. Генерал засмеялся.

– Позвольте вам доложить, – ответил, вспыхнув, Талызин, – позвольте вам доложить: уничтожение того, что вы зовете рабством, составляет цель многих из нас...

– Поверьте, мне совершенно все равно: участь русских рабов меня интересует очень мало.

– Это печально...

– Было бы еще печальнее, если б я стал вам лгать. У меня никогда рабов не было... Мне случилось об этом и сожалеть. Может быть, в моей душе есть и такая частица, которая жаждет полной, собственнической власти над человеком. Если я выродок, тем хуже. Но я этого не думаю. Ах, господа, кто знает, кто знает, из каких инстинктов слагаются лучшие человеческие чувства, из каких побуждений свершаются так называемые доблестные подвиги... Шаткая, шаткая вещь человеческая душа, вот уж из нее никак нельзя сделать исходное положение: ничего хорошего не построишь.

«Parlez pour vous»,²⁸ – хотел было сказать Талызин, которого все больше раздражал этот самоуверенный старик, в неприятно саркастическом тоне перескакивавший с одного серьезного предмета на другой. Но Талызин не сказал: «Parlez pour vous» из учтивости и в особенности потому, что счел этот ответ слишком общедоступным: вероятно, так подумала половина гостей.

– Я, конечно, говорил о себе, – сказал Ламор, отвечая общей мысли. – В нашей среде полагается быть откровенным, хотя это и трудно. Вот я на себя и оглядываюсь: опыт жизни у меня есть, большой опыт, господа. Много я видел и ко многому был причастен. Что же мной руководило? В молодости на девять десятых похоть, но это в счет не идет. Потом себялюбие – тоже не идет в счет... Жажда знания? Да, это было и осталось: у всякого человека есть что-либо одно, самое настоящее, самое подлинное, – у меня, пожалуй, это. А вот жаждой общественного блага, каюсь, прежде я не страдал вовсе. Я об этом и не жалел, видя, что делалось вокруг меня, особенно в последние годы. Ведь тысяча самых свирепых разбойников, тысяча Картушей, господа, не пролила десятой доли той крови, которую, из жажды общественного

²⁸ «Говорите о себе» (франц.).

блага, пролил добродетельный Робеспьер. Я и думал прежде: слава Господу Богу, что не все люди и не целый день мучаются жаждой общественного блага, а то они давным-давно перерезали бы друг друга. Так я думал. А потом пожалел. Почему, сказать затрудняюсь...

Он замолчал.

– Я, господа, – начал Ламор снова, – скажу прямо: я не могу себе представить другого понимания жизни, кроме чисто пессимистического. Я как те грешники, которых, помнится, Данте посадил в ад за то, что они не любили жизнь: «Tristi fummo nel aer dolce dal sol s'allegria...»²⁹ Так, видно, я до самой смерти не пойму, в чем тут было преступление. Боюсь, боюсь жизни! – вскрикнул он неожиданно и снова замолчал, закрыв глаза. Гости смотрели на него с все большим недоумением. На лице генерала выразилось сожаление: он опять, видимо, ждал другого. – Вот мне восьмой десяток, позади бесконечное кладбище, впереди как будто ничего нет, кроме смерти. А я боюсь, как бы она, жизнь, еще чем-либо меня не удивила, чем-либо постыдным, смешным, отвратительным, – она на это мастерица, на безвыходные положения... А ведь немногие так знали, так любили радости мира, как я. Мне и теперь до глупости тяжело сознавать, что всего этого я безвозвратно лишусь очень скоро. Я, человек, мучительно страдающий по ночам бессонницей, боюсь вечного сна, – как глупо! Да, да, я знаю, это старо, это очевидно до плоскости. Но в плоскость и упирается жизнь в своем конечном итоге. Говорят, без веры жить нельзя, – я хочу сказать, без веры в загробное существование. Можно, конечно, но очень, очень худо. А веру взять неоткуда, что же себя обманывать? Вот и вывертывайся как знаешь. Видите ли, господа, полторы тысячи лет – со времени Константина Великого – Европа жила более или менее спокойно, потому что была твердая, непоколебимая, почти всеобщая вера в загробный мир...

– Ну, не очень спокойно жила, – вставил Талызин.

– Все же спокойнее нашего, правда? Чума в счет не идет... Инквизиция поддерживала веру кострами – и по-своему была права. Не так глупы были эти люди, и фразами они не обольщались. Но теперь на наших глазах гаснут и земные, и адские костры. После французской революции адом никого не запугаешь – этакая расплылась на устах человечества скептическая улыбка, не дьявольская, нет, просто улыбка, скептическая улыбочка. Препятствие жизни потеряно, новый не найден. Мир стоит на краю пропасти. Я не верю в возврат к карам, да и не хочу его. Отныне, по-видимому, приходится действовать больше при помощи наград, но это далеко не так верно.

– Мысли ваши вызывают в нас смущение, – сказал Талызин. – Мы, верно, плохо вас понимаем... Мне казалось, вы хотели нас познакомить с работой братства свободных каменщиков?

– Братства свободных каменщиков? – протянул как бы с удивлением Ламор. – Да я именно об этом и говорю. Боюсь только, что вы приписываете слишком большое значение братству свободных каменщиков. Что такое масонство? Масонство – это организация по борьбе с людоедством, действующая посредством раздачи орденов, выгодных мест и других хороших вещей тем, кто людоедством занимается меньше.

Баратаев встал и простился с хозяином дома. Наступило неловкое молчание.

– Вы торопитесь? – по-русски сказал, поспешно вставая, Талызин.

– Тороплюсь и не люблю шуточек. Не так мне весело, да и стар я.

Панин тоже поднялся.

– И мне пора. Я только на четверть часа заехал, – сухо сказал он, слегка поклонился и вышел. Талызин проводил их и вернулся со смущенным видом. Гости переговаривались вполголоса.

²⁹ Имеются в виду строки из «Ада» Данте: «...В воздухе родимом, Который блещет, солнцу веселясь, Мы были скучны, полны вялым дымом». Песнь VII, ст. 121–123. Перевод М. Лозинского

– Должен вам сказать, – заметил Талызин, обращаясь к Ламору, – я никак не могу, да и все мы не можем согласиться с тем определением масонства, которое вы дали. Мы...

– Вы совершенно правы. Масонство не поддается общему определению, каждый толкует его по-своему. Я говорил к тому же не о России, а о Западе. Да я и сам не рад, что наше масонство стало на такой путь. У него была великая задача: воспитание молодого поколения. Вот что поважнее власти и теплых мест. Великая, великая вещь воспитание... Масонство привыкло исходить из того, что человек хорош по природе. Я думаю, по природе он достаточно дурен. Но его можно усовершенствовать, если взяться за это достаточно рано. Возьмите акробатов. Какие чудеса может производить приученное с детства человеческое тело! Только начать надо лет с пятнадцати, не позже. Ведь акробатская техника улучшается с каждым поколением. Я думаю, душа тоже поддается гимнастике. Все будущее мира зависит от воспитания молодых поколений.

– Надо работать не над детьми, а над собою, – горячо сказал Талызин.

– Надо, конечно. Но для этого незачем создавать всемирную организацию, надевать ленты и говорить в глубокой тайне страшные слова. Вот мы поужинаем и уйдем, а вы наедине будете работать над собою, – сказал Ламор с улыбкой. Генерал опять засмеялся.

– Обряд и тайна необходимы. Надо поэтизировать мир тайной, – продолжал Талызин с еще большим жаром (он дорожил этой мыслью). – Без поэзии ритуала наше братство невозможно. Пусть масонство – компромисс религии с жизнью, пусть слово «брат» есть лишь символ грядущих человеческих отношений, ваше толкование для меня неприемлемо. Цель наша тройная: самоусовершенствование, создание лучших учреждений, создание лучших людей.

– Это не одна цель, а целых три. Отсюда и три направления в масонстве, – заметил кто-то из гостей.

– Нет, нет, разрешите мне пояснить свою мысль. Я готов и раба, как вы изволили выразиться, принять в масонское братство...

– Ну, это запрещено уставом, – вставил генерал.

– Ах, все равно, – сказал Талызин, с досадой махнув рукой. – Все равно! Я готов принять своего слугу в масонский орден и буду называть его братом. Пусть это фальшь, я знаю, я чувствую сам, – торопливо говорил он, отмахиваясь, хоть никто его не перебивал (да никто и не говорил об этом). – Но слово «брат» – символ будущих человеческих отношений, – повторил он. – Вся наша жизнь создана из символов. А сейчас перед нами задача – создать лучшие справедливые учреждения, без которых никакое братство невозможно, ни в настоящем, ни в будущем...

Ламор слушал его, улыбаясь.

– Из этого взгляда вышло братство французской революции, – сказал он. – Впрочем, я не спорю. Большой разницы в наших выводах нет... Спорили мы о разном, и довольно бестолково, уж вы меня извините... Я желаю полного успеха русскому масонству. Мне поручено нашим новым главою, Ретье де Монтало, передать вам привет. Делаю это с искренней радостью. Но, не скрою, некоторые сомнения у меня все же есть, сомнения основного свойства... Я, готовясь к смерти, вспоминаю книги мудрых людей... Очень мне хочется поверить в загробную жизнь. К несчастью, мудрые люди меня не убедили. Да еще точно ли известно, что они-то в загробную жизнь верили? Платон где-то проговорился, что сами боги не совсем бессмертны, не совсем и не всегда... Были у него, помню, разные «если». Не помню точно, какие именно, но были, были «если»... Так ведь то, видите ли, боги... Или стоики – они что-то лепетали странное: индивидуальная душа, конечно, бессмертна, но, так сказать, на некоторое время: поживет, поживет и сольется с мировой душой. Я думал, они шутят, право... А если я не желаю сливаться с душой Торквемады или Робеспьера? Я своей собственной не слишком доволен, но за семьдесят лет все же свыкся. Черт с ним, с Робеспьером. Уж лучше приму я восточную веру: на Востоке

осведомленные люди предполагают, что души в лучшем мире распределятся по чинам, – душа мошенника перейдет, например, в ящерицу или в змею. Это мне как-то приятнее...

Он помолчал. Талызин хотел что-то сказать, но Ламор перебил его:

– Кант прямо говорит: если нет бессмертия, нравственный закон становится совершенно бессмысленным; а так как нравственный закон существует, значит, должно быть бессмертие. Я принимаю начало рассуждения и изменяю конец: если нет бессмертия, нравственный закон становится совершенно бессмысленным, – верно; а так как бессмертия нет, то нравственный закон... Нравственный закон есть нечто вроде тех акробатических фокусов, которым необходимо учить молодых людей... Да, да, необходимо...

Он подавил зевок.

– Простите меня, господа. Я сегодня не в ударе и, конечно, вам наскучил. Очень бесполовая вышла беседа, по моей, разумеется, вине... Собственно, я не об этом хотел говорить. Да и вы ждали от меня другого... Вы желали, чтобы я рассказал вам о перевороте 18 брюмера? Извольте...

– Ах, ради Бога, – торопливо сказал Талызин (он с неприятным чувством думал, что был недостаточно любезен с гостем). – Вы нам сделаете большое одолжение.

– Просим, – сказал один из гостей. Другой тоже пробурчал что-то в этом роде, хотя серьезный разговор уже утомил многих. Талызин встал, открыл дверь и заглянул в столовую; оттуда сверкнул богато накрытый стол. Это, видимо, всех оживило.

– Просим, просим, – сказала сразу несколько человек.

– Да вот вы за ужином и расскажете, – сказал Талызин. – Пожалуйте, господа.

– Отлично, я проголодался, – произнес Ламор, вставая.

– Очень было интересно все, что вы изволили сказать, – начал один из гостей, выходя с Ламором в столовую. – Хотя, конечно...

– Пожалуйте, господа, пожалуйста... – говорил Талызин, стоя сбоку от дверей. Он задержал на секунду генерала и сказал ему тихо: – Что, очень скучал? За терпенье будет тебе награда. Получил я из Бремена «Иоганнисбергер!» Один ты во всем Петербурге оценишь.

– Давай его сюда... Никому и попробовать не дам, – ответил весело генерал.

VII

В большой роскошной квартире госпожи Шевалье только парадные комнаты были отделаны по-настоящему. Французская артистка как-то не могла привыкнуть к своей жизни в Петербурге и к своему богатству. Хотя уезжать из России она нисколько не собиралась, но чувствовала себя в русской столице почти как на сцене. Театр занимал очень большое место в заботах госпожи Шевалье. Она часто говорила с застенчивой улыбкой, что для нее сцена и есть настоящая жизнь. Но и сама этому не верила, и догадывалась, что не верит никто другой, несмотря на мастерскую застенчивую улыбку. Госпожа Шевалье так же не могла считать настоящей и жизнь, выпавшую на ее долю в России, как не могла всерьез чувствовать себя Ифигенией или Эвридикой.

Знаменитая певица принимала у себя самое лучшее петербургское общество. Только очень немногие видные люди не посещали ее дома. Не бывал у госпожи Шевалье кое-кто из старых французских эмигрантов. Сама она считалась как будто эмигранткой, однако же считалась не совсем твердо. Втихомолку о ней говорили французы, что она во время террора была где-то богиней разума,³⁰ а затем, в пору Директории, стала любовницей Барраса. Но когда у передававших слух спрашивали недоверчиво, действительно ли это так, они разводили с усмеш-

³⁰ В представлении «Празднество Разума», состоявшемся в Париже 10 ноября 1793 года, роль Богини Разума исполняла артистка Тереза-Анжелика Обри (1772–1829).

кой руками и говорили, как полагается в таких случаях: «Que voulez-vous! Je n'y ai pas tenu la chandelle».³¹ Были слухи, будто красавица состоит секретной агенткой первого консула. О муже ее говорили и не то: поздно выехавшие из Франции эмигранты утверждали, что мосье Шевалье был еще недавно свирепейшим террористом, сподвижником в зверствах Колло д'Эрбуа. Русское общество этим не очень интересовалось (в последнее время обличение ужасов революции так же всем надоело, как и самые ужасы), да и плохо разбиралось, – кто Баррас (его называли французы виконтом), кто Колло д'Эрбуа (эта фамилия тоже звучала как будто по-дворянски). Посещать дом Шевалье стали, однако, не сразу. Первое время к знаменитой артистке ездили только холостые люди и разговоры велись у нее тоже холостые: хозяйка первоначально охотно подчинялась этому тону и сама его поощряла. Но с тех пор как госпожу Шевалье взял под свое покровительство Кутайсов, один из самых влиятельных людей Петербурга, и особенно после того, как на нее обратил внимание император Павел, ездить к ней стали и дамы, и степенные сановники. Характер разговоров в гостиной артистки изменился довольно быстро, перейдя от тона веселого заведения к тону политического салона (хоть некоторые срывы еще случались с завсегдатаями). При этом одни из гостей без стеснения хвалили за твердость революционное правительство, особенно первого консула; большинство не шло столь далеко и говорило с госпожой Шевалье так, как принято было в то время говорить со знатными эмигрантами, – грустно, с выражением соболезнования, но и с легкой укоризной, имевшей разные оттенки: от «как хотите, господа, но и вы сами тоже виноваты: вот ведь у нас никакой революции нет» до «а пора бы вам, господа, бросить ерунду, и незачем вам, собственно, у нас засиживаться, хоть мы из вежливости и по нашему гостеприимству не говорим этого прямо». Многие эмигранты в ту пору уже сами полусознательно принимали такой тон, как принимали езду на санях, рюмку водки перед обедом и другие обычаи страны, в которой им приходилось жить. Другие пожимали плечами, усвоив, после долгих лет протестов и негодования, тон иронически равнодушный, означавший приблизительно: «Чего же другого было ждать – то ли еще будет!» И лишь немногие, самые оголтелые, эмигранты упорно не поддавались ни тому, ни другому тону. Эти не ездили к госпоже Шевалье и знать ее не желали. Сама знаменитая артистка иногда охотно входила в роль знатной эмигрантки и говорила о революции так, как говорили о ней эмигранты оголтелые. Но иногда говорила совершенно иначе. Госпожа Шевалье, быть может, действительно уже сама не вполне ясно себе представляла, кто она, собственно: знатная ли эмигрантка или сторонница первого консула. Так странно и непонятно было все, случившееся с ней в России, куда она приехала без денег и без имени.

В этот день у певицы был назначен небольшой прием, человек на двадцать. Хозяйка даже собиралась сделать вид, будто и приема, собственно, никакого нет, а так, пришли посидеть друзья. Из гостей только человека два или три знали, что в этот вечер в доме госпожи Шевалье должен был появиться впервые наследник престола, живший очень уединенно. Его предполагалось выдать гостям за своего человека, и для правдоподобия гости были приглашены самые разные: очень важные и совсем незначительные люди.

Гости, не интересовавшиеся серьезными разговорами, играли у госпожи Шевалье в карты. Для них каждый вечер были готовы бостонные столы. Угощала гостей хозяйка по-французски: кроме сладкого печенья к чаю и конфет, ничего не подавалось. В Петербурге многие находили этот обычай прекрасным и говорили, что его нужно было бы ввести везде: нельзя каждую ночь пить шампанское и есть ужин из десяти блюд. Но в русских домах французский обычай не прививался.

У госпожи Шевалье время было распределено строго. После обеда, за которым она вовсе не ела хлеба и ничего не пила, чтоб не пополнеть, знаменитая артистка полтора часа ходила взад и вперед по своей спальне при опущенных шторах: таким образом достигалась двойная

³¹ «Чего вы хотите! Я там свечу не держал» (франц.).

выгода – для талии и для цвета лица. Затем, уже при свете, перед зеркалом, тоже полтора часа пела гаммы. Закончив упражнения, госпожа Шевалье проглотила рюмку какого-то питья и не торопясь занялась туалетом. Это длилось долго. Хозяйство в доме, по раз навсегда выработанной программе, вел мосье Шевалье, больше от скуки: ему совершенно нечего было делать. Когда певица, в модном, очень узком темном платье с поясом почти под мышками, вышла в парадные комнаты, в гостиных и в передней все оказалось в полном порядке: с вешалок у входа было снято все хозяйское, в канделябры вставлены новые свечи (зажжены были только два канделябра, остальные зажигались в последнюю минуту). Конфеты, печенье уже стояли на главном столе в большой гостиной. В передней находилась молодая, некрасивая, но нарядная горничная. Лакеев вовсе не было. Госпожа Шевалье очень заботилась о том, чтобы у нее в доме все было не так, как у русских бар: она инстинктивно чувствовала, что, принимая богатейших людей России, у которых были огромные дворцы и несчетное количество прислуги, она могла выезжать только на оригинальности приема. Мосье Шевалье встречал гостей и переправлял их из передней в большую гостиную. Здесь его роль кончалась. Когда все гости были в сборе, он держался больше в непарадных комнатах и только изредка для приличия показывался в салоне, предлагал то одному, то другому гостю еще чашку чаю и снова исчезал. Госпожа Шевалье любила своего мужа (он был свой, близкий человек в этом огромном чужом городе), но немного стыдилась его; вдобавок побаивалась, как бы он по привычке не назвал кого-либо из гостей «citoyen» или не сказал императору «salut et fraternité». ³²

Убедившись, что все в полном порядке, госпожа Шевалье лениво подошла к окну и отодвинула шторы. За окном рвалась вьюга.

«Quel affreux climat!», ³³ – подумала артистка. Мосье Шевалье беспокойно вошел в салон. Ей вдруг почему-то стало жалко мужа.

– Elle est bien, ma robe, qu'en dis-tu? ³⁴ – спросила она, прислушиваясь к музыке своего голоса.

– Exquise, ma chérie, ³⁵ – радостно ответил мосье Шевалье. Ее раздражило, что он произносил esquise, – и стало скучно с ним разговаривать: ей всегда было известно, что и как он скажет. Она села в кресло у большого стола гостиной и открыла наудачу томик Кребийлона («mon vieux Crebillon» ³⁶ – так обычно называла она с милой улыбкой своего любимого писателя). Но не успела госпожа Шевалье дочитать первую страницу, как у входных дверей задрожал колокольчик. Хозяин поспешно зажег все свечи и бросился в переднюю. Госпожа Шевалье в последний раз взглянула в зеркало и вполоборота повернула голову от книги.

Иванчук приехал на вечер в числе последних гостей вместе с графом Паленом, которому был обязан приглашением. Он вошел в переднюю каким-то особенно бодрым шагом, перебирая в уме, как бы чего не упустить. В нем природное нахальство всегда перевешивало застенчивость молодого человека. Но все же перед важными вечерами он чувствовал себя, как обстрелянный воин перед сражением: дело было знакомое и нестрашное (кроме первой минуты), а все-таки требовалось смотреть в оба, работать мозгами и хорошо собой владеть, чтобы извлечь из вечера всю выгоду, а заодно и все удовольствия, которые он мог дать. Смущало его немного, что говорить придется по-французски. «Ну, да я очень насобачился», – бодро подумал Иванчук.

В передней Екатерина Николаевна Лопухина вкалывала булавку в курчавые черные волосы. Она вскрикнула от радости, увидев графа Палена, который остановился, развел руками

³² «Гражданин»... «Привет и братство» (франц.).

³³ «Какой ужасный климат!» (франц.)

³⁴ Как ты находишь мое платье? (франц.)

³⁵ Превосходно, дорогая (франц.).

³⁶ «Моего старика Кребийлона» (франц.).

и очень непохоже изобразил на лице крайнюю степень восхищения. Несмотря на свой далеко не молодой возраст, Пален пользовался большим успехом у женщин: они неопределенно говорили, что в нем есть что-то такое. Сам Пален был к дамам благодушно снисходителен. Говорил он со всеми женщинами как с маленькими детьми, с идиотами или как с учеными пуделями, – точно его забавляло и восхищало, что они все-таки понимают не очень сложные вещи. Иванчук, для которого Пален был воплощением совершенства (не мог он простить графу только выбор военной карьеры), старался перенять его манеру разговора с дамами. Но ему она никак не давалась.

– Ах, как я рада видеть вас, Петр Алексеевич, – сказала Лопухина, нерешительно оглядываясь на Иванчука. Она совершенно его не помнила. Но веселая улыбка молодого человека ясно показывала, что здесь очевидное недоразумение и что они сто лет знакомы. Лопухина поверила улыбке и смущенно поздоровалась, стараясь сообразить, кто это. Иванчук галантно поцеловал руку Екатерины Николаевны и отступил из скромности на несколько шагов в сторону. Лопухина оживленно заговорила вполголоса с Паленом. Он совершенно ее не слушал и отвечал ласково-бессмысленно первое, что приходило ему в голову.

– Так у вас, в вашей политике, все хорошо? Non, dites,³⁷ – негромко говорила Екатерина Николаевна каким-то особенным, грудным и теплым голосом.

– Напротив, княгиня, напротив, – отвечал замогильным тоном Пален. – В политике готовятся страшные, неслыханные катастрофы. Le monde s'engouffre de plus en plus. Mais qu'est ce que cela peut bien me faire, puisque vous existez!³⁸

Иванчук с восторгом смотрел на своего начальника. Лопухина махнула рукой.

– Правда, у меня сегодня ужасный вид? – быстро сказала она, расширив глаза со стыдливой улыбкой. – Я сегодня безобразна, правда? Нет, скажите раз в жизни правду...

– Вы сегодня очаровательны, княгиня. Я никогда не видел вас столь сказочно прекрасной. Боже, как вы хороши! – говорил восхищенно Пален, глядя через голову Лопухиной на дверь соседней комнаты, откуда слышались голоса.

– Ах нет, я бледна, я знаю, что я нынче бледна... Я не спала всю ночь.

Через малую гостиную они прошли в большую, где собралось общество. Госпожа Шевалье с улыбкой поднялась навстречу Лопухиной. Обе дамы впились друг в друга взглядами, и каждая на всю жизнь запомнила до мельчайших подробностей платье другой – искусство, свойственное одним женщинам и неизменно повергающее в изумление мужчин. Затем они нежно расцеловались. Вид Лопухиной ясно показывал гостям: «Да, я у нее бываю, да, я с ней целуюсь, ибо талант выше всего этого» (Екатерина Николаевна ездила к новой фаворитке императора главным образом назло своей падчерице).

У госпожи Шевалье обычно никого не знакомили, и вновь входящие здоровались только с хозяйкой. Но на этот раз гостей было немного, и Пален, поцеловав руку госпожи Шевалье, обошел всех. Иванчук следовал за ним. Ему очень нравилось то, как входил в гостиную Пален, неизменно сосредоточивавший на себе общее внимание. Иванчук огорченно думал, что так входить трудно и что для этого нужно иметь очень многое: и высокий рост Палена, и его звучное имя, и его репутацию, и его безграничное равнодушие к тому, что о нем подумают и скажут. Некоторые гости, подавая руку Иванчуку, скороговоркой называли свои фамилии, и опять его веселая улыбка показывала, что здесь совершенное недоразумение. Не поверил недоразумению только вице-канцлер Панин: он ответил холодным взглядом на улыбку молодого человека и тотчас отвернулся. Иванчук немедленно выразил лицом, что вполне понимает и прощает рассеянность государственного деятеля. Обойдя всех гостей, он выбрал себе самое подходя-

³⁷ Нет, скажите (*франц.*).

³⁸ Мир все больше и больше скатывается в пропасть. Но есть нечто, что может меня обрадовать: это то, что есть вы! (*франц.*)

щее место: не слишком близко к хозяйке (это не соответствовало бы его служебному положению), но и не очень далеко от нее.

Только осмотревшись, Иванчук вполне оценил, каким важным успехом было для него появление в доме госпожи Шевалье. Пять-шесть человек из находившихся в гостиной были важнейшими сановниками России. Остальные гости тоже ничего не портили, и лишь очень немногие были приглашены напрасно. Иванчук особенно пожалел, увидев молодого де Бальмена. Его присутствие здесь несколько уменьшало цену приглашения в дом знаменитой артистки.

VIII

У Панина значилось правило в памятной книжке: ни под какими светскими предложениями не ездить в гости к людям, которых не любишь и не уважаешь. У Никиты Петровича была привычка заносить в записную книжку разные правила для собственного руководства. В последние месяцы он почти не имел времени для записей, но изредка с грустной усмешкой перечитывал старые тетрадки в бархатных переплетах.

На вечер к госпоже Шевалье он поехал главным образом потому, что ему было неловко и неудобно во второй раз отклонить ее приглашение. Кроме того, как ни тяжело переносил Панин общество большинства людей, в одиночестве ему было порою еще тяжелее. Он говорил себе, что для дела полезно изредка посещать дом французской артистки: у нее собирались Уитворт, Рибас, Пален, Талызин, и там они могли говорить за карточным столом, не возбуждая никаких подозрений. Но законный предлог визита не рассеял дурного настроения Панина. Ему все-таки было досадно, что он поехал в этот подозрительный дом дурного тона.

Старательно избегая Ростопчина, сидевшего с хозяйкой и занимавшего ее последними парижскими анекдотами, Панин поместился за небольшим столиком, в углу гостиной. Его соседом оказался де Бальмен. Он отсюда, завидуя Ростопчину, любовался госпожой Шевалье. Немного смущенный обществом вице-канцлера, де Бальмен пробовал с ним заговорить. Панин отвечал односложно. Молодок человек раздражал его, однако раздражал меньше, чем другие гости: он был никто.

– Не будете ли вы добры сказать мне, – вежливо спросил де Бальмен, вместе робко и чуть насмешливо поглядывая на угрюмого вице-канцлера, – какая это звезда у графа Петра Алексеевича, вон та пятая, что поверх ленты? Верно, иностранной державы?

Панин рассеянно посмотрел по направлению взгляда молодого человека.

– Не могу вам сказать, не знаю, – кратко ответил он.

– Благодарю вас. Верно, иностранной державы...

«Он в самом деле весь в орденах, – подумал Панин. – Шесть, семь... восемь звезд... Говорят, он очень храбрый воин, с большой боевой заслугой. Однако не гнушается теперь иметь верховный надзор за Тайной канцелярией. Может быть, он читает и мои письма... Глава заговора и лучший друг государя! Да, верно, так надо. Гнусная вещь – политика...»

Пален все менял места. Вначале он долго разговаривал с хозяйкой, затем пересел к Кутайсову, дружески беседовал и с другими гостями. Оказался ненадолго и за столиком в углу, причем тотчас вступил в оживленный разговор с чрезвычайно польщенным де Бальменом. Панин прислушался было к их беседе. Военный губернатор внимательно расспрашивал молодого человека о делах его полка, о том, какие офицеры пользуются особым влиянием и славные ли они люди. «Так он, верно, и ту даму выспрашивал о государе, и Кутайсова о дворцовых делах», – подумал Панин.

– Как жаль, что офицерам вашего полка трудно сделать карьер, – сказал конфиденциальным тоном Пален, нагибаясь дружески к де Бальмену. – Скажу вам по секрету, государь очень недолюбливает ваш полк.

«Все лжет, – подумал раздраженно вице-канцлер. – И как обдуманно лжет!»

Раздался звонок, и в соседней комнате послышался громкий, веселый, чуть по-детски пискливый смех.

– *Le voilà, notre cher amiral*,³⁹ – сказала хозяйка, улыбаясь.

В комнату не вошел, а бочком вбежал странный, уже очень немолодой человек. В дверях он вдруг круто повернулся, так что носом к носу столкнулся с мосье Шевалье, ударил его по животу, покатился со смеху и мелкой рысцой побежал к хозяйке дома.

«А, Штаалево начальство», – подумал де Бальмен.

Это был адмирал де Рибас. Де Бальмен, никогда не выдавший его вблизи, всматривался с особенным любопытством в нового гостя. «Неужели вот этот человек в Италия заманил самозванку к Орлову? – подумал он. – Вот бы узнать, что у него в душе...» Адмирал, схватив обе руки госпожи Шевалье, покрывал их поцелуями и, бегая глазами по комнате, радостно улыбаясь то одному, то другому гостю, что-то быстро говорил по-французски со странным твердым, но не русским акцентом. Де Бальмен смотрел на него с завистью. «Вот захотел и взял сразу обе ее ручки. Он на кота похож. А у Ростопчина глаза, как у жабы... А вот Пален внушительный – и любезный какой, прелесть! Уж если кому подражать, то ему... Досадно, однако, это, что он сказал о карьере. Надо будет у нас рассказать...»

Пален встал, слегка потянулся и сказал, скрывая зевок:

– Что ж золотое времечко терять, Никита Петрович? Стол давно готов.

Де Бальмен, тоже вставая, подумал, что у них в полку за игру садились обыкновенно с этим самым восклицанием о золотом времечке. Как ни приятно было де Бальмену присутствовать на приеме у госпожи Шевалье, он в течение вечера испытывал и некоторое разочарование: в гостиной находились известнейшие люди России, но разговоры их не были значительнее, чем те, которые де Бальмен ежедневно слышал в полку и еще раньше в корпусе.

Иванчук в этот вечер совершенно познакомился с госпожой Шевалье: теперь он был уверен, что она всегда узнает его при встрече. Хотел даже попросить ее о Настеньке, но отложил до другого раза: случаи уж наверное будут. Он был чрезвычайно доволен вечером. Вначале Иванчук устроился при Лопухиной и занимал ее с большим успехом: Екатерина Николаевна слушала его шутки благосклонно. Через четверть часа он получил приглашение бывать у них в доме запросто. Это был громадный успех, о котором Иванчук только смутно мог мечтать. Но, как только он добился успеха, его уважение к дому Лопухиных сильно уменьшилось: по-настоящему он уважал (хоть ругал и недолюбливал) лишь тех людей, которые его не пускали к себе на порог. Иванчук даже вытащил записную книжку и спросил у Екатерины Николаевны адрес, хотя, как все, прекрасно знал, где живут Лопухины. Затем он присоединился к Ростопчину и долго говорил ему комплименты. Лесть у него выходила плоская и потому особенно действительная. Ростопчин, от природы человек наивно пристрастный, не замечавший своей несправедливости (цинизма в нем, как и в Иванчуке, было очень мало), – под влиянием служебных успехов, совершенно потерял чувство меры и чувство смешного. Никакая лесть не казалась ему преувеличенной, и всякий человек, восторженно о нем говоривший, ему нравился, каков бы он ни был в остальном. Так и на этот раз, слушая Иванчука, Ростопчин благожелательно отметил в памяти почтительного молодого человека. Но как только разговор от дел и заслуг Федора Васильевича перешел на другую тему, он перестал слушать. Иванчук перебрался к Кутайсову, и тоже вышло хорошо. В этот вечер все удавалось Иванчуку. Он чувствовал себя настолько свободно, что сам попросил у хозяйки еще чашку чаю. Удовольствие его от общества, в котором он находился, все увеличивалось – и вместе с тем ему становилось скучно. Этот вечер среди высокопоставленных людей уже был для него навсегда приобретенным капиталом; Иванчук испытывал такое чувство, как при накоплении новой тысячи рублей, – когда хотелось

³⁹ Вот и наш дорогой адмирал (*франц.*).

возможно скорее запечатать и отослать пачку ассигнаций в Гамбургскую контору. Соображая, что такое еще можно было бы сделать, Иванчук вспомнил о Талызине: хорошо было бы и с ним подогреть знакомство, – какие это у него собираются молодые люди? Талызин играл в карты в маленькой боковой комнате, которая отделялась аркой и колоннами от большой гостиной. Его партнерами были Пален и Рибас. Четвертый игрок сидел к салону спиной. «Это кто же? – спросил себя Иванчук, всматриваясь в высокую прическу густых пудренных волос, выделявшихся над черным бархатом воротника. – Да, тот нахал, Панин... Разве пойти посмотреть, как они играют?» Он взял за спинку стул, слегка качнул его ножками вперед и бойко, с чашкой чаю в другой руке, направился в боковую комнату.

– Бонн шанс, месье, – сказал он весело, садясь между Паленом и Талызиным. Ему показалось, будто игроки не очень ему обрадовались. Никто не ответил, и разговор оборвался.

«Да нет, вздор какой», – подумал уверенно Иванчук. Он поставил чашку на стол и, отодвинув немного подсвечник, сказал «pardon». «Эх, глупость сморозил! – пожалел тут же Иванчук. – Не надо было говорить pardon – подсвечнику, что ли? Ну, да не беда, подумают, я кого-нибудь задел ногой под столом... А интересно, почему у них игра?» На столе лежали кучки круглых, продолговатых и квадратных жетонов из разноцветной слоновой кости. «У патрона уйма какая, – обрадовался Иванчук. – Ну и мужчина! Сдает, сдает-то как!» Пален чрезвычайно быстрым и точным движением сдавал карты по три, справа налево, как полагается при игре в бостон. Каждая карта падала на свое место, не уклоняясь ни на вершок; вдруг последняя упала открытой. «Неужели засдался?» – спросил себя огорченно Иванчук и вспомнил, что пятьдесят вторая карта открывает в бостоне козырь.

– Carreau, carissimo!⁴⁰ – воскликнул де Рибас, торопливо разбирая свои карты.

– Бубны козыри, значит, бостоном становится червонный валет, – сказал Иванчук, ни к кому в отдельности не обращаясь. Пален на сукне, не открывая, собрал свои карты в четырехугольник, выправил по столу и в одно мгновение развернул веером, по мастям. Затем, почти не взглянув на них, снова свел карты в четырехугольник и положил на стол.

– Demande en petite, – сказал де Рибас. – En toute petite, en toute-toute-petite!⁴¹ (он произнес немое «е» в конце слов).

Талызин задумался. Пален смотрел на него с усмешкой.

– Тут она ему и сказала, – произнес он.

– Je passe...⁴²

– Misère...⁴³

– А вы как, с экаром играете? – спросил Иванчук погромче. Поймав вдруг на себе злобный взгляд вице-канцлера, он смутился и замолчал. Игра досталась Палену. «Эк он рискует, ведь ничего у него нет», – сказал мысленно Иванчук, смотря в карты своего патрона, опять мгновенно раскрывшиеся веером. Пален, не задумываясь ни на секунду над ходами, мастерски разыграл игру и еще придвинул к себе большую кучу жетонов. В передней прозвучал звонок. «Я, может, в год столько жалованья не получаю, сколько Петр Алексеевич сейчас загреб», – с восхищением подумал Иванчук. Он смотрел вкось мимо колонны, – какой гость приехал так поздно? Гость этот еще не появился, но по неуловимому движению в первом, сообщавшемся с передней, салоне (открытая широкая дверь его была видна из боковой комнаты) Иванчук сразу догадался, что прибыл очень важный человек. В дверях мелькнуло испуганное лицо мосье Шевалье, и в ту же минуту в большой гостиной все поднялись с мест. На пороге показался наследник престола. Иванчук смотрел на него во все глаза, еще не приходя в себя от восторга

⁴⁰ Бубны, дражайший мой! (франц., итал.)

⁴¹ Прошу по малой... Совсем по малой, совсем-совсем по малой! (франц.)

⁴² Я пасую... (франц.)

⁴³ Мизер (франц.).

и ужаса. Александр Павлович торопливо шел к хозяйке, неловким движением головы и руки приглашая гостей сесть. Вдруг сбоку от себя он увидел поспешно поднявшихся из-за стола игроков. В глазах великого князя что-то мелькнуло – и исчезло. На поразительно красивом, еще совершенно юном лице его засветилась шутовская улыбка.

– Je suis sans excuse, Madame, je le sais,⁴⁴ – сказал он, целуя руку госпожи Шевалье.

IX

– Не так ты бьешь, – наставительно говорил Насков, поправляя инструментом кончик кия. – Не так бьешь, сын мой. Надо было играть легонько от красного – вот так. Тогда бы они у тебя и остались в уголочке. А ты жаришь изо всей силы, только разбросал шары. Сила, сын мой, и хорохоренье при игре в карамболь не требуются... Вот, сам видишь, конечно, а могла бы быть серия. Dixi.⁴⁵

Он говорил быстро и оживленно, но изредка как-то странно спотыкался в слогах.

– Ну, уж это мое дело, – сердито ответил промахнувшийся Штааль, отходя от бильярда и садясь к столику.

– Твое, разумеется, – согласился Насков. – Но зачем же, сын мой, ты сердисься, аки тигра лютая?

«Совсем это не остроумно, “аки тигра лютая”, – подумал Штааль, почти с ненавистью рассматривая лысую голову, помятое лицо без ресниц и бровей, неряшливый костюм своего партнера. – И ведет себя скоморохом, и говорит, как скоморох. Вечно острит, вечно лжет».

Насков вынул мелок из кармана, намелил кий и нескладно опрокинулся туловищем на бильярд. Руки у него всегда немного дрожали. Но по покачиванию прицела, по особой легкости удара, по тому, как Насков, в неудобной позе, держал между указательным и большим пальцами передний конец кия, сразу виден был мастер. Все три шара сошлись в углу. Насков спустил правую ногу с борта, опять намелил кий кубиком и легонько повел шары по борту. «Четыре, пять, шесть, – считал мысленно Штааль. – Теперь до десяти дойдет! Опять я проиграл...»

Он как бы равнодушно отвернулся и взялся обеими руками за кий, поставленный толстым концом на некрашенный дощатый пол. В длинной узкой комнате дневной свет слабо сопротивлялся свету ламп в стеклянных шарах, спускавшихся с потолка к бильярдам. У окна на узеньком кожаном диване, прижавшись тесно друг к другу, скромно сидели два зрителя, стараясь не касаться плечами висевших около них на стене чужих кафтанов и шинелей. В грязноватых зеркалах отражались лампы, стойки с киями по стенам, озабоченные раскрасневшиеся лица и белые рукава игроков. Все три бильярда были заняты. Отовсюду, вперемежку с неровными голосами и смехом, слышался сухой стук шаров, более громкий при первом ударе и слабый, иного тона, при втором. В бильiardной в одни и те же часы неизменно собирались одни и те же люди. Эта длинная, темноватая по углам зала, на чужой взгляд неприветливая и неудобная, для них была родным домом, и всякое явление мира они расценивали главным образом по тому, как к нему здесь отнесутся. По истечении двух-трех лет, по вечным законам бильiardных, одна группа завсегдатаев внезапно куда-то исчезала, уступая место другой такой же. Только редкие люди были связаны с бильiardной раз навсегда: до ее закрытия или до своей смерти. К таким одиночкам относился Насков, давно уволенный со службы дипломат и опустившийся человек. Штааль принадлежал к предшествовавшему поколению завсегдатаев. Теперь, в этой зале, кроме Наскова, он не знал, даже в лицо, почти никого. Ему было грустно.

⁴⁴ Мне нет прощения, сударыня, я это знаю (*франц.*).

⁴⁵ Я кончил (буквально: сказал) (*лат.*).

«Неужели не дойдет больше до меня очередь?.. За десять перевалило. Этот может, однако, не выйти, – думал Штааль, невольно поводя плечом, как бы помогая своим движением шару Наскова уклониться от цели. – Нет, сделал и этот...»

Насков столкнулся задом с игроком соседнего стола и остановился, рассеянным мутным взором глядя на игру соседа. Затем опять наклонился над бильярдом.

– Два всего осталось. Плакали, сын мой, твои денежки, – сказал Насков, опять нагибаясь над бильярдом. – Так... И этак... Напоследок три борта... Пребезмерно мне сие любезно.

Он положил в карман протянутый Штаалем золотой.

«Теперь заговорит о своем фамильном происхождении или глупые анекдоты начнет рассказывать... И конец каждого анекдота повторит два раза», – подумал Штааль.

– Больше не желаешь играть? На дискрецию? – спросил Насков.

– Не желаю.

– Не сердись, светик. Мне всего дороже соблюдение твоего здоровья... Позволь, ради Бога, мне пойти вымыть руки.

Он надел кафтан и энергичной, подрагивающей походкой направился в уборную, нескладно размахивая руками и странно сгибая колени, точно он все время шагал через препятствия. Штааль смотрел ему вслед и не без удовольствия думал, что Насков болел дурной болезнью: он сам всем об этом рассказывал со смехом, как о случившейся с ним когда-то забавной истории, которой, по-видимому, он не придавал никакого значения. «А нос у тебя и очень может провалиться», – думал Штааль, сожалея, что неудобно напомнить об этом Наскову.

– Время мое, Кирилл, – сказал он лакею, убиравшему шары. – Принеси-ка мне бутылку портеру, – добавил он неожиданно для самого себя: ему не хотелось ни пить, ни оставаться в накуренной бильярдной.

– Слушаю-с.

На третьем бильярде играли в пять шаров игроки-завсегдатаи, звезды нового поколения. На их партию смотрело человек десять. Спиной к Штаалю, с любопытством следя за игрою, стоял сгорбленный старик. Штааль бегло скользнул взглядом по его спине и желтоседому затылку.

«В Париже бильярды больше наших, – подумал он почему-то. – И кии там кривые, шары толкают толстым концом...»

– А, ты портеру потребовал, тигра лютая, – весело сказал вернувшийся Насков. – Увлекательная мысль.

Он вытер руки о панталоны, налил полный бокал и выпил залпом.

– Будь здоров!..

«Из этого стакана не пить», – отметил в уме Штааль.

– Послушай, как влачатся твои дела с божественной Шевалье? – спросил развязно Насков, очевидно желавший развеселить проигравшего приятеля. – Мне говорил Бальмен...

– Никак.

– Рифма: чудак! Есть еще рифма, но об одной умолчу (он приложил палец к губе и сделал испуганное лицо, затем быстро засмеялся).

– Ты думаешь, так легко сойтись с госпожой Шевалье?

– А ты думаешь, так трудно? У тебя есть сто рублей?

«Нет», – хотел было ответить Штааль и утвердительно кивнул головой.

– Тогда завтра, часов в пять, поезжай к ней с посещением.

– Да я не знаком!

– Сие не требуется, сын мой. Ты приказываешь доложить. Божественная тебя принимает. «Madame, je suis très malheureux...»⁴⁶ – (Насков хорошо владел французским языком и счи-

⁴⁶ «Сударыня, я очень несчастен...» (франц.)

тал необходимым грассировать; однако грассированье у него, как у всех нарочно картавящих людей, совершенно не походило на французское). «Сударыня, мне до смерти хочется попасть на ваш бенефис, но, увы, все билеты расписаны за два месяца. Вы одни можете ввергнуть меня в блаженство...» Тут ты бросаешь на стол сто рублей.

– Не видала она моих ста рублей.

– Видала, натурально. Но она бережлива, как всякая француженка, и жадна, как всякая актерка. Ста рублей за билет, стоящий три, рядовой дурак не даст. Кроме того, ты красивый мальчик. Я вижу отсель ее благосклонную улыбку.

– А дальше что? – спросил заинтересованный Штааль.

– Дальше ты можешь, например, сказать, что ты видел в Париже в ее роли знаменитую Нунчиати. Разумеется, ты ее и во сне не видал, но это не имеет никакого значения. «Ах, вы бывали в Париже?.. Простите, мосье, я не разобрала вашу фамилию». Ты называешь. Она ничего не понимает в русских фамилиях: ей все одно – что Шереметев (у него неожиданно вышло: Шемеретев), что Штааль...

– Или что Насков.

– Pardon, я Бархатной книги...

– А я шелковой, – сказал Штааль и сам покраснел от того, что так глупо сострил. – К тому же у нас нет под рукою Бархатной книги.

– Позволь. Я тебе докажу. Мой пращур...

– Не трудись.

– Впрочем, не в этом дело. Повторяю, божественная ничего не понимает. Ты горячо восклицаешь, что Нунчиати и Давиа не достойны быть у ней служанками. Она мило и конфузливо улыбается: «Мосье, вы преувеличиваете...» – «Сударыня, я клянусь...» Клянись всем, что придет в голову, это тоже не имеет значения. Если хочешь, моей жизнью, не препятствую. Цени любезность, потому что по правде Давиа много лучше твоей Шевалье. Кому и знать, как не мне: не скрою, дело прошлое, прелестная Давиа дарила меня своей милостью...

– Об этом я что-то не слышал.

– Cher ami,⁴⁷ ты тогда бегал под столом. Я потратил на нее более ста тысяч.

– И того не слышал. Я думал, ты и десяти тысяч не имел сроду.

– Ты думал? Так ты не думай. Ежели ты будешь думать, то что будут делать Аристотель, Платон, Фукидид? Кстати, ты знаешь, как звали жену Фукидида? Фукибаба... Понимаешь: жена Фуки-дида Фуки-баба.

Он залился мелким смехом.

– Старо! Еще в училище слышал.

– Старый друг лучше новых двух. И даже лучше новых трех... Passons...⁴⁸ Я продолжаю. Божественная улыбается еще милее и безмолвенно взирает на тебя с вожделием. На твоей очаровательной фигуре, к счастью, ничего не написано: может быть, у тебя, опричь наличного капиталу, сто тысяч душ. Ты просишь дозволения бывать в доме. «Ах, я буду очень рада...» Dixi.

– Скорее всего, меня просто не примут: «Барыня велели узнать, что вам угодно?»

– Tiens,⁴⁹ об этом я не сделал рефлексии... Впрочем, это не беда. Ты становишься нахален: «Скажи, что имею важнейшее персональное дело». Девять шансов из ста... я хочу сказать, девять шансов из десяти: тебя примут.

– Ну а ежели у меня нет сейчас свободных ста рублей? – краснея, сказал Штааль.

⁴⁷ Дорогой мой (франц.).

⁴⁸ Но оставим это... (франц.)

⁴⁹ Смотри-ка (франц.).

– Ах вот что, – разочарованно протянул Насков. – Тогда другое дело. К сожалению моему, я беру назад все ценное и мудрое, что было мною сказано. Тогда проклинай свою столь плачевную судьбу. Человек, не имеющий ста рублей, не достоин звания человека. Dixi.

– Предположим, я мог бы взять займы.

– Не будем предполагать, сын мой. Достать займы сто рублей в этой развратной себялюбивой столице! Не льстись несбыточным сном... Разве что жалованья подождешь? Поголодай, правда: нет беды в том, чтоб поголодать для любимой женщины. C'est une noble attitude⁵⁰ (слово «attitude» тоже у него не вышло). Кстати, прости, я выпил весь твой портер. Не заказываю для тебя другой бутылки: ты, натурально, обиделся бы, и ты был бы прав... Теперь видишь, как это просто? Вперед всегда слушай дяденку... Ты еще остаешься? Тогда прощай, я бегу. Еще надо быть во дворце. Я обещал одному человеку (он назвал громкую фамилию). Скоро придешь сюда опять?

– Едва ли... Впрочем, может, завтра приду.

– Приходи, отыграешься. Ты сделал успехи, сын мой, я тебе говорю. Прощай, расцеловываю тебя, однако лишь мысленно.

Он застегнул плащ на одну пуговицу и своей бодрой лошадиной походкой вышел из биллиардной.

«Куда же мне пойти? Скука какая! – подумал тоскливо Штааль. Наклонившись к столику – так, чтобы никто не видел, – он заглянул в кошелек. – Три, шесть, семь рублей... Потом опять буду в ресторации обедать в долг... Господи, когда же придет конец этой нищете!»

Дела его не улучшались от того, что он постоянно размышлял и говорил о преимуществах богатых людей перед бедными. Зорич умер и ничего ему не оставил. Штааль, стыдясь, ловил себя на том, что вспоминал о своем воспитателе не иначе как со злобой.

Он встал, сердито протянул руку поверх головы скромного посетителя, который робко искоса на него смотрел с дивана, и снял с гвоздя шинель. Освободившийся биллиард уже снова был занят; лакей с обреченным видом нес назад только что убранные шары. Штааль повернулся, надевая шинель, и опять ему у третьего биллиарда попался на глаза тот же желто-седой затылок.

«Что денег я тогда извел в Париже! – подумал он. – Ведь и Семен Гаврилович немало прислал, и Безбородко дал на ту дурацкую командировку. Обоих более нет в живых. Прошла и моя молодость, – верно, и я скоро околею... Питт тоже тогда предлагал денег, я благородничал, отказался. Теперь пригодились бы... Глупый я был мальчишка!»

Он вздохнул и направился к двери. Проход мимо третьего биллиарда был занят игравшим с борта чиновником. Штааль остановился, пренебрежительно глядя на новую знаменитость. Удар вышел очень искусный.

– Ну и молодец! – воскликнул восторженно один из зрителей. – Такого шара сам Яков не сделает.

– Bien joué,⁵¹ – пробормотал кто-то у стены.

Штааль оглянулся – и вздрогнул.

«Да нет, быть не может!.. Ужели Пьер Ламор?..»

Старик показывал лакею на стакан, стоявший перед ним на столике.

– Полтинничек с вас, барин. Полтинник, – особенно внятно и вразумительно говорил лакей.

– Vous ferez porter ça sur ma note. Je suis au numéro douze.⁵²

Лакей улыбался глупой улыбкой непонимающего человека.

⁵⁰ Это благородная позиция (*франц.*).

⁵¹ Отлично сыграно (*франц.*).

⁵² Запишите портер на мой счет. Я из двенадцатого номера (*франц.*).

«Разумеется, Ламор... Господи!..»
Штааль быстро подошел к старику.
– Вы меня не узнаете? – по-французски спросил он дрогнувшим голосом.
Старик смотрел на него удивленно. Вдруг улыбка пробежала в его глазах.
– *Quel heureux hasard!*⁵³ – сказал он, протягивая приветливо руку.
– Вы? В Петербурге? Какими судьбами?
– Да, я здесь живу, у Демута.
– В Петербурге?
Ламор рассмеялся:
– Как видите... В самом деле, какая странная встреча! Так вы военный? Как же выживаете?
– Да ничего...
Они смотрели друг на друга, не зная, что сказать.
– Вы мало изменились...
– Будто? А вас я едва узнал... Ведь лет шесть прошло? Вы тогда были совсем мальчиком. Очень это много в вашем возрасте, шесть лет... Вот не думал встретить здесь старого приятеля. Я зашел из столовой сюда в биллиардную, не хотелось подниматься в свою комнату. Да вы что ж, спешите? Посидите со мною...
– С удовольствием.
– Ну и прекрасно, я рад! Хотите, сядем в том углу, там никого нет... И вина велите подать.
– Принеси бутылку бордо, Кирилл, вон туда, – приказал Штааль лакею, стоявшему около них с недоверчивым видом.
– В три рубли или в четыре прикажете?
– В три.
Они сели за стол в темном углу комнаты.
– Я когда-то очень любил биллиард, – сказал Ламор.
«Предложить ему сыграть партию? Нет, неловко такому старику», – подумал Штааль.
– А мосье Борегар?.. Ведь его казнили? – вдруг вскрикнул он.
Проходивший мимо гость на них оглянулся. Ламор пожал плечами.
– *Comme tout le monde, mon jeune ami, comme tout le monde,*⁵⁴ – сказал он.

Х

За кулисами Каменного театра было полутемно, холодно и неудобно. Кое-где уже горели лампы. В огромных пустых пространствах позади сцены бродило несколько посетителей репетиций. Штааль, впервые попавший за кулисы, осторожно ступал по доскам пола, боясь провалиться в люк или ущемить ногу в пересекавших пол узких щелях. Он растерянно смотрел на канаты, уходившие куда-то вверх, на огромные зубчатые колеса, на торчавшие повсюду деревянные рамы. Все здесь было непонятно и таинственно, но нисколько не поэтично: Штааль иначе себе представлял кулисы. Пахло пылью и крысами.

За стеной кто-то пел одну и ту же музыкальную фразу. Штааль прислушался: «Ни принцесса, ни дюшесса, ни княгиня, ни графиня», – пел хриплый баритон и вдруг – без всякой злобы в выражении – разразился отчаянной бранью. Из боковых помещений постоянно пробегали по направлению к сцене необычайно торопившиеся, часто полуодетые, люди с крайне озабоченными лицами. Другие неслись вверх и вниз по узким боковым лестницам. Штааль понимал, что где-то по сторонам идет напряженная подготовительная работа. Вдруг около того

⁵³ Какой счастливый случай! (*франц.*)

⁵⁴ Как и всех, мой юный друг, как и всех (*франц.*).

места, где он стоял, огромная рама со скрипом пришла в движение и поплыла по щели прямо на него. Штааль растерянно отступил. Декорация прижала его к лесенке. Он поднялся по ступенькам и попал на сцену. Там зажигали фонари. Кто-то вколачивал молотком гвозди. Темный пустой зрительный зал теперь казался маленьким по сравнению с огромными пространствами позади сцены. Это особенно удивило Штааля. Прежде ему представлялось, что зрительный зал и составляет почти весь театр.

«Да что же никого из них нет?» – с досадой подумал Штааль. Компания, к которой он принадлежал в последнее время, должна была собраться за кулисами в четыре часа. Ему там и назначили свидание, указав, как пройти. Но еще никого не было. Он все боялся, что его спросят, зачем он здесь. «Или они где-нибудь собрались в другом месте?» Морщась от резких ударов молотка, Штааль направился назад.

– Ваше благородие, к нам пожаловали? – окликнул его кто-то. Штааль быстро оглянулся и не без труда, больше по голосу, узнал знакомого старичка-актера.

– А, здравствуйте, – радостно сказал Штааль. – Вы что ж это так нарядились?

– Наша роль: Бахус, древний бог Бахус, – сказал робко актер.

– У вас что нынче играет?

– «Радость душеньки», лирическая комедия, последуемая балетом, в одном действии, сочинение господина Богдановича, – скороговоркой ответил актер. – Извольте по поддуге видеть, – добавил он, показывая рукой на странное раскрашенное полотно, висевшее на раме. – Волшебные чертоги Амуровы-с.

Штааль взглянул на декорацию: вблизи она совершенно не походила на чертоги.

– А это что? – спросил он, показывая на сложное сооружение у потолка.

– Это Нептунова машина, – пояснил актер.

Штааль сделал вид, будто понял.

– Наверху машинное отделение. Если угодно, покажу-с?..

– Нет, не стоит, – устало сказал Штааль. – Да, так что же... – Он запнулся, не зная, о чем спросить актера, и боясь, как бы тот его не покинул. – Говорят, прекрасная комедия?

– Весьма прекрасная, – тотчас согласился актер.

– Ну а так у вас все идет, как следует?

– Ничего-с... Все как следует-с... Говорят, Яков Емельянович опять у нас будут играть.

Не изволили слышать?

– Кто это Яков Емельянович?

– Шушерин, как же, Яков Емельянович Шушерин, – удивленно пояснил актер. – Они из Москвы, слышно, к нам переводятся.

– Да?.. Скажите, французы тут же играют?

– Как же-с, здесь все: и они, и мы.

– А госпожа Шевалье?

– Как же-с, оне каждый день здесь бывают... Попозже только, часам к пяти. Их уборная по коридору первая...

– Ах, вот что... Да вообще где у вас тут комнаты артисток?.. И артистов.

– Везде-с. Общих теперича две-с. Одна мужская – нынче в ней хор зефириков. А женская наверху, там сейчас нимфы одеваются.

– Да... Вы хотели показать мне машинное отделение. Это должно быть интересно.

– Слушаю-с.

В эту минуту на сцене послышались голоса, и у лесенки показалось несколько театральных завсегдатаев. Среди них Штааль увидел Наскова, де Бальмена, Иванчука.

– А, Бахус, – воскликнул Насков. – Бахус Моцартус... Mes enfants,⁵⁵ представляю вам бога Бахуса.

Напились неосторожно.
Пьяным мыслить невозможно,
Что же делать? Как же быть? —

запел он хриплым голосом.

– Фальшь, фальшь, – воскликнул, затыкая уши, Иванчук и как-то особенно бойко перескочил через низко висевшую веревку, хотя через нее можно было просто перешагнуть.

– Никак нет, верно поют-с, – сказал, улыбаясь. Бахус.

Иванчук очень холодно поздоровался с Штаалем.

– Вчера не были, сударь, – сказал актер. – Новостей нет ли-с? Верно, все штафеты читать изволите, и те что по телеграфам?

– Новостей? – переспросил польщенный Иванчук. – Какие же новости? Скоро воевать будем.

– С турками-с?

– С турками-с, – передразнил Иванчук. – Уж не с гишпанцами ли? С Англией, а не с турками-с. Сдается мне, Бонапарт начинает нами вертеть!

– Дерзновенного духа человек, – вздохнул актер.

– Ну, насчет войны еще гадания розны, – пренебрежительно сказал Штааль, не глядя на Иванчука.

– В самом деле, вряд ли мы заключим альянс с Бонапартом, – вставил де Бальмен.

– А почему бы и нет?

– С республиканским правительством? Это при суждениях государя императора?

Я люблю вино не ложно,
Трезвым быть мне невозможно.
Что же делать? Как же быть? —

пел Насков, бывший сильно навеселе.

– Я, впрочем, не утверждаю положительно, – сказал, спохватившись, Иванчук и заговорил вполголоса с де Бальменом об артистках театра, сообщая о них самые интимные сведения.

– Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? – все больше краснея, беспрестанно спрашивал де Бальмен. Иванчук только пожимал плечами. Штааль усиленно зевал. Ему очень хотелось послушать.

– Да быть не может!

– Верно тебе говорю.

Де Бальмен вдруг толкнул его в бок, показывая глазами в сторону. К ним неторопливо подходил седой как лунь красивый старик с очень умным и привлекательным лицом, в коричневом суконном кафтане, с шитым шелковым жилетом, манжетами и брыжами. Голова у него слегка тряслась. Это был знаменитый актер Дмитревский.

– Здравствуй, здравствуй, дуся моя, – ласково говорил он каждому. – Что, инспектора не видал? Где инспектор?

– Они у краскотеров, Иван Афанасьевич, – сказал почтительно Бахус. – А Алексей Семеныч в своей уборной.

– Пьян? – деловито спросил Дмитревский.

⁵⁵ Дети мои (франц.).

– Не иначе как, Иван Афанасьевич.

Дмитревский вздохнул.

– Жаль, талант какой, – сказал он. – Так я к нему пройду. Скажи инспектору, чтоб засел, дуся моя, – добавил он, исчезая за декорациями.

– Экой маркиз! – сказал с жаром де Бальмен, очень довольный тем, что увидел вблизи Дмитревского.

– Помаркизистее настоящих маркизов, – подтвердил Штааль.

– Кто это пьян? Яковлев? – спросил Бахуса Иванчук.

– Они-с.

– Как ты умный человек, Бахус, – сказал с таинственным видом Насков, – то разреши мне сию задачу: ежели б в реке разом тонули турок и иудей, то которого нужно спасти первым?

Он засмеялся, окинув всех веселым взглядом, и затыкнул:

У меня гортань устала.

Лучше, братцы, отдохнуть.

Отдохнуть, да пососнуть,

Так, так душенька сказала...

– Да вот он, ваш инспектор, – сказал Иванчук. Бахус подтянулся и быстро исчез. По лестнице из машинного отделения спускался, похлопывая себя хлыстиком, осанистый мужчина, с жирным, осевшим складками, лицом. Он поздоровался с главными гостями так, как здороваются на сцене актеры, встречаясь с давно пропавшими без вести друзьями: склонял голову набок, на расстоянии, не выпуская хлыстика, хватал руки знакомых повыше локтей и при этом говорил изумленно радостным тоном: «Ба, кого я вижу!» или: «Сколько лет, сколько зим!» Это он говорил даже тем гостям, которых видел накануне. Впрочем, с людьми малозначительными, как Штааль, инспектор труппы поздоровался гораздо сдержанней, а Наскова даже вовсе не узнал. Особенно любезно он встретил Иванчука.

«Экая противная фигура, – подумал Штааль. – Так и хочется в морду дать... И никто, кроме актеров, не говорит “ба”!»

Иванчук фамильярно охватил за талию инспектора и отвел его к сцене.

– Вы, батюшка, как, Настенькой довольны? – спросил он вполголоса.

– Степановой? – переспросил инспектор. – Старательная девица. Она нынче в хоре нимф.

– Да, я знаю. Правда, отличнейший талант?

– Ничего, ничего.

– Только ход ей давайте... А зефиры к ней не пристають?

– Попробовали бы приставать! С зефирами разговор короткий. Будьте совершенно спокойны.

– Ну спасибо, – сказал Иванчук, горячо пожимая ему руку. – Граф Петр Алексеевич очень доволен вашей труппой.

– Стараюсь, как могу. Просто жалость, что у нас на русские спектакли так смотрят... Ей-Богу, играем не хуже французов.

– Она где сейчас, Настенька? В большой фигурантской? Так я туда пройду?

– Другим не разрешил бы, а вам... Только к нимфам, пожалуйста, не заходите. Не от меня учинено запрещение. Велите служительнице вызвать.

Иванчук кивнул головой, поднялся, немного волнуясь, по лестнице к фигурантской и приказал вызвать Анастасию Степанову. Через минуту в дверях общей уборной появилась с испуганным видом Настенька в костюме нимфы. За ней показались сквозь полуоткрытую дверь две женские головы и скрылись. Послышался смех.

– Ах, это вы? – сказала Настенька, улыбаясь и прислушиваясь к тому, что говорилось в уборной.

– Ты, а не вы, – поправил Иванчук, восторженно на нее глядя. – Я привез тебе конфет.

– Ну, зачем вы это? Благодарствуйте...

Иванчук вынул из кармана маленькую плоскую коробочку.

– Нарочно взял маленькую, незачем, чтоб болтали. Самые лучшие конфеты, по полтора рубли фунт.

Иванчук знал, что так говорить не следует, но не мог удержаться: с Настенькой ему хотелось разговаривать иначе, чем со всеми.

– Благодарствуйте, зачем вы, право, тратитесь? Это лишнее.

– Без благодарения: для тебя нет лишнего, Настенька.

Она засмеялась.

– Ты и не знаешь, какой я тебе готовлю сюрприз. Нет, нет, не скажу. А вот только что я говорил с инспектором. Он так полагает, что у тебя немалый талант. Увидишь, я тебе устрою карьер. Только слушайся меня во всем.

– Да я и так слушаюсь.

Иванчук оглянулся и быстро поцеловал Настеньку в губы.

– Ты знаешь, Штааль здесь, в театре. Ведь ни-ни, правда? – спросил он, краснея (что с ним бывало редко). – А, ни-ни?

Она вспыхнула:

– Мне все одно... Только вы идите, очень инспектор строгий.

– Так я после репетовки за тобой зайду.

– И то заходите, спасибо.

– Заходи, а не заходите.

Иванчук радостно простился с Настенькой и вернулся к сцене. Там движение усилилось. Слуги поспешно тащили рамы и сдвигали декорации. Волшебные чертоги Амура уже были почти готовы. Поддуги очень плохо изображали звездное небо. Работа кипела. Напряжение передалось и зрителям, которые взошли на сцену и уселись на стульях по ее краям в ожидании начала репетиции. В конце темного зрительного зала блеснул слабый свет. Дверь открылась, из коридора вошла дама в сопровождении лакея и поспешно направилась к сцене. Когда она поравнялась с паркетом, Штааль и Иванчук одновременно узнали Лопухину. Штааль поклонился, Иванчук мимо суфлера бойко сбежал со сцены в зал и остановился с Екатериной Николаевной.

– Пренсес, – сказал он, целуя ей руку. – Вы в храме Мельпомены?

– Да, да, правда, Мельпомены... Я не помешаю?

– Ради Бога! Вы, можете ли вы помешать? – воскликнул Иванчук, подражая Палену. – Садитесь где вам будет угодно, пренсес, где вам только будет угодно! – говорил он, точно был в театре хозяином.

– Здесь что сейчас?

– Сейчас начнется репетовка. «Радость душеньки», вы как раз, пренсес...

– Ах, это русская труппа, – протянула, щурясь на сцену, Лопухина. – А я к дивной Шевалье...

Она вдруг вскрикнула, узнав Штааля, и радостно закивала головой.

– Это тот ваш товарищ, я его знаю. Он такой милый. Позовите его...

Де Бальмен, стоявший рядом с Штаалем, толкнул его локтем. Штааль встал словно нехотя и медленно спустился в зал, искоса взглянув на озадаченного Иванчука.

– Вы, конечно, меня не узнаете? – с томной улыбкой скалала Лопухина. В голосе ее послышались теплые грудные ноты. – Ну да, конечно, не узнаете...

– Помилуйте, – ответил Штааль, досадуя, что не придумал более блестящего ответа.

– Не помилую, – сказала Екатерина Николаевна с ударением на слове **не**. – Я вас *не* помилую, молодой человек.

Иванчук отошел очень недовольный. Лопухина быстро приблизила лицо к Штаалю.

– Я сегодня безобразна, правда? Правда, у меня ужасный вид?

– Что вы, помилуйте, – опять сказал Штааль и покраснел.

– Нет, я знаю. У меня голова болит, это оттого...

– Зачем же вы пришли в театр, если у вас голова болит? – спросил Штааль грубоватым тоном.

Лопухина слабо засмеялась:

– Parfait, parfait...⁵⁶ Нет, он очарователен. Ему надо ушко надрать. «Зачем вы пришли в театр?..» Я должна видеть прелестную Шевалье, вот зачем, молодой человек. Ах, она такая прелестная. Проводите меня к ней, да, да?

– С удовольствием, – поспешно сказал Штааль. – С моим удовольствием. Ежели только она уже прибыла... Ее уборная там, мы можем пройти коридором.

– Да, да, коридором. Дайте мне руку... Остаюсь здесь, Степан... Ах, она такая прелестная, Шевалье. Ведь, правда, вы не видали женщины лучше? Сознайтесь...

Она терпеть не могла госпожу Шевалье и постоянно ее превозносила по каким-то сложным соображениям.

– Сознаюсь.

– Ах, она обольсти... Вот только фигура у ней нехороша... И плечи... Неужто вы никого не видали лучше? Боже, какой вы молодой! И как вас легко провести! Ведь, правда, вы в нее влюблены?

Она опять слабо засмеялась.

– А помните, вы когда-то говорили, что в меня влюблены до безумия? Да, да, до безумия... Так ведите же меня к ней, изменник. Да, да, изменник! Стыдитесь, молодой человек.

XI

– А, это, должно быть, та заезжая великанша, что недавно показывалась на театре, – пояснил Штааль Лопухиной.

В коридоре недалеко от них у стены на табурете сидела огромная женщина, с упорным, тупым и неподвижным выражением на лице. Ее рыжая голова была видна издали подходившим, хоть великаншу с трех сторон обступали зефиры, обменивавшиеся деловитыми замечаниями о разных частях ее тела (она по-русски не понимала). Без всякого подобия улыбки, сложив руки на коленях, она смотрела на двух мальчиков, пришедшихся по линии ее взгляда, как смотрела бы на стену, если б их не было. Зефиры замолчали и расступились, увидев подходивших. Когда Лопухина и Штааль попали под взгляд великанши, она вдруг тяжело вздохнула, подумала немного и встала. Зефиры радостно зафыркали. Лопухина оглянулась на них. Привычным движением великанша раскинула руки по стене и вдруг улыбнулась жалкой улыбкой. Это и было все ее выступление, для которого она ездил из одного края света в другой.

– Какая странная жизнь должна быть у этой женщины, – сказал Штааль негромко своей спутнице. Лопухина восторженно закивала головой, точно он сделал необычайно тонкое замечание. Штааль увидел, что она смотрит не на великаншу, а на зефиров.

– Что это за юноши? – отходя, спросила Лопухина равнодушным тоном.

– Это, кажется, воспитанники театрального училища.

– Parfait, parfait... Какое чудовище эта женщина! Ах, ужели есть мужчины, которые могли бы ее полюбить? Как вы думаете?

⁵⁶ Чудесно, чудесно... (франц.)

– Своей красоты, не хуже многих других, – буркнул Штааль, тут же подумав, что ведет себя и неучтиво, и глупо: Лопухина с ее громадными связями могла быть чрезвычайно ему полезна. – Это, верно, здесь, – сказал он, остановившись перед закрытой дверью последней комнаты коридора.

Лопухина постучала и вошла, не дожидаясь ответа, в небольшой, хорошо убранной комнате перед зеркалом горели свечи. Госпожа Шевалье, в шелковом пеньюаре, сердито встала с места, но тотчас, увидев Лопухину, сменила недовольное выражение лица на радостную улыбку. В углу комнаты с дивана поднялся грузный Кутайсов. На равнодушном лице его не было никакого выражения. Однако Штааль почувствовал себя неловко. Расцеловавшись нежно с Лопухиной, госпожа Шевалье подала руку Штаалю, с которым уже была знакома; однако не предложила ему сесть.

– Княгиня приказала мне проводить ее к вам, – смущенно сказал Штааль.

Кутайсов равнодушно наклонил голову в знак согласия, точно это ему вошедший гость объяснял причину своего появления. Штааль вспыхнул. Он невнятно пробормотал, что княгиня, верно, одна найдет дорогу назад, – и, неожиданно для самого себя, направился к двери. Никто его не удерживал. Штааль вышел с яростью, чувствуя, что визит не только не подвинул вперед его дела, но, скорее, мог повредить ему в глазах красавицы: «Глупо вошел, еще глупее вышел...» С порога он смерил взглядом Кутайсова с ног до головы, но это не могло его утешить, так как Кутайсов и не смотрел на него в эту минуту. Хлопнуть дверью было тоже неудобно. Штааль быстро шел, не замечая, куда идет, и говорил отрывисто разные злобные слова.

Справа за стеной тот же хриплый баритон пел: «Ни принцесса, ни дюшесса, ни княгиня, ни графиня...» Навстречу Штаалю шел, переваливаясь, с хлыстиком в руке, осанистый инспектор трупы. Он недовольно посмотрел на Штаала и холодно кивнул головой, как если б тот ему поклонился. «Еще бы стал я первый кланяться», – почти с бешенством подумал Штааль.

У окна стоял стул с продырявленным сиденьем. Со сцены, находившейся совсем близко, слышалось пение. Штааль сел и угрюмо уставился на улицу. Еще было светло. Начинались весенние дни. Грязное месиво, оставшееся после растаявшего снега, уже немного подсыхало. Стояла теплая погода без дождя и солнца, которую любил Штааль.

«Да, правду говорил Ламор: нечего мне лезть к этим людям, – угрюмо думал он. – Странно я повстречался с Ламором. В Неаполе тогда были одновременно и не знали. А здесь, в Петербурге, вдруг встретились у Демута. Очень странно! Я думал, он давно умер. Живуч старик и стал еще болтливее. Но, пожалуй, он прав».

Они тогда довольно долго оставались в биллиардной. Когда все предметы разговора были исчерпаны, Штааль вдруг, сам не зная для чего, рассказал Ламору о своей любви к госпоже Шевалье. Старик выслушал его с интересом.

– Молодой друг мой, – сказал он, – глупый, благоразумный человек, вероятно, счел бы себя обязанным с ужасом вас предостеречь. Очень может быть, что за любовь к фаворитке императора вас бросят в каземат или сошлют в каторжные работы, – такие случаи бывали в истории. Но в русской Бастилии (ведь ее, слава Богу, еще не взяли) или по дороге в Сибирь, позвякивая кандалами, вы вдруг вспомните какую-нибудь улыбку, или взгляд, или сказанное вам нежное слово – и сердце ваше замрет от такого умиленья, от такого мучительного восторга, по сравнению с которыми, конечно, ничего не стоит вся слава и роскошь мира. Эти минуты и составляют высшую радость в любви, а не то, что, помнится, Марк Аврелий или другой древний импотент называл презрительно «convulsicula».⁵⁷ Платоническая любовь, которую наивные люди именуют «чистой», – самое утонченное наслаждение, выдуманное великими сибаритами. Я отнюдь не враг «convulsicula», – но высший восторг дают все же те мгновенья. Правда, восторг пройдет, а Сибирь и Бастилия останутся. Поэтому, с чисто логической точки зрения,

⁵⁷ Любовные корчи, любовные конвульсии (лат.).

глупый человек, пожалуй, будет не совсем не прав. Однако особенность глупых людей именно в том и заключается, что они суют логику туда, где ей решительно нечего делать. Область полномочий здравого смысла в жизни до смешного мала... Впрочем, по прежним моим наблюдениям, у вас не слишком бурный темперамент. Вы, кажется, человек мнимострастный: есть такие – уж вы меня извините. Благоразумнее было бы, конечно, не лезть в соперники сильным мира. Но отчего же и не попытаться счастья? Есть серьезные прецеденты. Возьмите нашего первого консула. Уж какое могущественное лицо, да вдобавок гений, да вдобавок красивый человек, – но с огорчением должен сообщить вам то, о чем давно говорит весь Париж: *Le grand homme est sôcu*.⁵⁸ Счастливым соперником первого консула – конный егерь, мосье Шарль: просто конный егерь, просто мосье Шарль, ничего более. Это, кстати сказать, по-моему, проявление высшей справедливости. Судьба мудро поступила, наградив пяткой Ахиллеса. На месте наших республиканцев я нашел бы себе утешение: мосье Шарль отомстил человеку судьбы за 18-е брюмера: *le tyran est sôcu*.⁵⁹

«Все он шутит да острит, – думал Штааль. – Нет утомительнее таких людей. Неужто в первом консуле ничего иного подметить было невозможно?..»

Мысли Штааля были в последнее время всё более печальны. Дела его, и денежные, и служебные, находились в совсем дурном состоянии. Товарищи-офицеры его не любили и считали чужим, случайным человеком в своей среде. Штааль это приписывал тому, что не имел знатного имени. В действительности были также другие причины. В его блестящем полку, одном из лучших в мире, традиции чести и достоинства стояли и в ту пору чрезвычайно высоко. Штааль не сделал ничего противного этим традициям, не сделал и вообще ничего дурного. В походе он прилично себя вел. Поэтому его терпели. Но в нем смутно чувствовали человека, в безукоризненном поведении которого нельзя быть вполне уверенным. «Надо уйти в отставку, пока не попросили, – думал Штааль. – Не создан я для военной службы».

Он взглянул в окно и тяжело вздохнул.

«Вот скоро поеду на юг, в Киев, в Одессу даст поручение Рибас... Бальмен предлагает ехать вместе. Дешевле будет и не так скучно: он приятный мальчик. Там отдохну... Какая, однако, мелочь может расстроить душу... Ведь ничего, собственно, этакое и не случилось. Ну, увижу ее в другой раз. Да и на ней свет не клином сошелся. На юге много красивых женщин... Вот бы только Лопухина не оскорбилась, что я ее бросил...»

На сцене Амур пел арию: «Ее устами говорила сама любовь, сама любовь». Певец произносил: «сам-ма любо-у, сам-ма любо-у». «Да, именно любоу... Почему, однако, старик думает, что я человек мнимострастный? Это обидно...» Голос певца оборвался на длинной пискливой заключительной ноте. «Какой скверный певец! Да, все мое расстройство оттого, что нет ни любоу, ни денег. Одно утешало бы, ежели б не было другого. А вдруг на юге найду и деньги, и любоу?..» «Я говорю, что она загрустила от печали», – сказал на сцене голос. «А я говорю, что она печальна от грусти», – ответил другой. Послышался смех. «Экое дурачье! Что тут остроумного?» – подумал Штааль. Он встал и направился к сцене.

Сбоку от лестницы шел на сцену хор нимф. Нимфы шли в ногу походкой балерин, подняв голову, опустив плечи, странно держа руки и подрагивая бедрами. Все улыбались совершенно одинаковой, задорно-радостной улыбкой. Четвертой шла Настенька. Штааль знал, что она оставила Баратаева и сошлась недавно с Иванчуком, который определил ее в балет. Сначала это было чрезвычайно неприятно Штаалю, потом он решил, что ему совершенно все равно. Иногда ему хотелось даже спросить своего бывшего приятеля игриво-благодушным тоном, как поживает Настенька. «А она уж, пожалуй, и немного стара для нимфы, – подумал Штааль, хоть Настенька теперь была красивее, чем в пору их встречи в Таверне. – Отвернуться

⁵⁸ Великому человеку наставили рога... (франц.)

⁵⁹ Тирану наставили рога (франц.).

в сторону или смотреть прямо, будто не узнаю?» Он встретился с Настенькой взглядом. Хоть она тотчас отвернулась, залившись румянцем, Штааль поспешно сорвал шляпу с головы и прошел мимо, направляясь к выходу.

«Зачем мне идти на сцену? Чего я там не видал?..»

В коридорах театра никого не было. Но в небольшой галерее около лестницы стояли, горячо и негромко разговаривая, два человека. В одном из них Штааль еще издали узнал графа Палена. Лицо его, нахмуренное, без обычной усмешки, поразило Штааля выражением сосредоточенной силы. Другой человек, по-видимому очень молодой, в семеновском мундире, стоял спиной к Штаалу. Штааль на цыпочках скользнул мимо разговаривавших. Они его не видали. Пройдя шагов пятнадцать, он оглянулся и с удивленьем узнал в собеседнике Палена великого князя Александра Павловича.

ХII

Иванчук легко достал продолжительный отпуск для Настеньки: в балетной труппе она была совершенно не нужна; приняли и держали ее только благодаря его связям. Ему самому было труднее получить отпуск. В течение нескольких лет Иванчук ни разу не выезжал из Петербурга: он старательно внушал – и внушил – своему начальству убеждение в том, что без него все пропадет. С этим, конечно, связывались немалые выгоды по службе, но они были уже давно получены, и теперь Иванчук начинал тяготиться своей ролью незаменимого человека, смутно опасаясь, уж не свалят ли он в общем дурака, работая за те же деньги гораздо больше других (он всегда боялся, как бы в чем-либо не «свалить дурака»). Просьба его о двухмесячном отпуске вызвала недоумение начальства, правда, лестное, но и раздражившее немного Иванчука. «Да ведь вас и заменить некем, просто лавочку закрывай», – сказал, разводя руками, ближайший его начальник. Иванчук с достоинством и твердостью дал понять, что, хоть это совершенно справедливо, он все же человек, а не вол. Отпуск Иванчук получил; получил даже и прогонные на шесть лошадей, несмотря на то, что ехал по собственной надобности: он отправлялся на юг для осмотра и покупки имения под Житомиром.

Настенька должна была сопровождать Иванчука. Об этом он никому не рассказывал, но принял меры к тому, чтобы все это знали. В путешествии с молоденькой балетной актрисой было, по представлению Иванчука, что-то удалое, легкомысленное, молодецкое, не очень шедшее к репутации солидного основательного человека, которую сам же он годами заботливо себе составлял. Однако именно противоречие это и было ему приятно. Деловую репутацию свою он справедливо считал вполне упроченной и заботливо намекал, что есть в его жизни еще многое помимо службы и что, будучи правой рукой графа Палена, он в то же время и по другой части утрет нос многим ветреным молодцам. Получая отпуск для Настеньки у директора театра и сообщая приятелям о своем путешествии на юг, Иванчук старательно отводил глаза в сторону, в меру конфузился (принимая в расчет свое служебное положение), в меру плутовски улыбался и в нужную минуту переводил разговор на другой предмет, причем интонация его и строгое выражение лица ясно говорили: «Я перевожу разговор на другой предмет».

От путешествия он ждал необыкновенных наслаждений. Немного его беспокоило то, что в Киеве трудно было не встретиться с Штаалем, который как раз был послан Рибасом в служебную командировку на юг. «Ну, положим, я живо его отошью, ежели что», – говорил себе Иванчук. Однако мысль эта, как все связанное с Штаалем, была ему неприятна. И еще огорчило Иванчука, что Настенька, по его мнению, не обнаружила достаточной радости, когда узнала о получении отпуска и о предстоящем путешествии (это был тот сюрприз, о котором он говорил ей за кулисами театра).

Настенька давала Иванчуку самые наглядные доказательства любви. Он знал вдобавок, что благодетельствовал Настеньку (сознание это всегда его умиляло) и что она должна быть

ему благодарна по гроб жизни. Таким образом, в ее любви Иванчук почти не сомневался и был в этом почти прав. Настенька действительно была ему благодарна по гроб жизни.

Она пережила тяжелое время после того, как покинула Баратаева. Покинула она его тотчас по возвращении из-за границы: ей с ним было мучительно скучно и страшно. Она даже толком не знала, по своей ли воле ушла от Баратаева или это он ее отпустил. От его имени ей при уходе была вручена денежная сумма, очень большая по сравнению с тем, что в таких случаях получали женщины одного положения с Настенькой. По непривычке ей тогда показалось, что денег этих хватит на целый век. В действительности очень скоро она осталась без гроша. Настенька так и не могла сообразить, куда девались деньги. Правда, бриллиантовое ожерелье, купленное у проезжего торговца по редкостному случаю за треть цены, оказалось фальшивым. Настенька хотела было даже подать жалобу, как ей советовали, но все собиралась, плакала, плакала и не подала, а всем объясняла, что торговец, верно, давно ускакал из города. Да еще она помогла немного одной хорошей старушке и двум подругам дала займы. Остальные деньги разошлись незаметно. Она чувствовала, что если бы попросить еще у Баратаева, он, вероятно, не отказал бы. Но на этой мысли она и не остановилась. Настеньке пришлось очень плохо. Подруги даже рассказывали всем с искренним огорчением, что она пошла по рукам. Спас же ее, по их словам, Иванчук.

Таково было и собственное мнение Настеньки. Не то чтобы он с самого начала очень ей понравился. Но другой мог быть гораздо хуже – Настенька насмотрелась всего. Иванчук устроил ее в балет. Это было нелегко: ни по возрасту, ни по фигуре она уже для балета не подходила. Он снял для нее комнату и денег давал, – правда, немного, но, с балетным жалованьем на придачу, ей хватало на жизнь. Требовал Иванчук за все это меньше, чем многие другие, а обращался с ней совсем хорошо: ласково, внимательно, нежно. Настенька и прежде, еще с «Красного кабачка», чувствовала, что нравится Иванчуку и что он завидует Штаалу.

О Штаале Настенька, в огорчениях жизни, вспоминала все реже. Правда, когда вспоминала, то вздыхала очень грустно, а в первое время нередко и плакала. Известие об его возвращении из похода (он был послан курьером и вернулся раньше других) Настенька приняла с волнением. Затем она несколько раз встречала его, то в Летнем саду на гулянье, то на Невском проспекте, и всякий раз мучительно краснела, больше от того, что считала себя подурневшей. Да еще ее беспокоило, знает ли он обо всем, что с ней произошло. Но Штааль, по всей видимости, мало ею интересовался. Это очень оскорбило Настеньку: простая вежливость требовала большего. Иванчук говорил, что Штааль огрубел в походе до неузнаваемости. Она тоже так думала: ей было и больно, и почему-то немного приятно. Настенька не сравнивала Иванчука с Штаалем, но, по чувству справедливости, все более ценила заботливость и внимание своего нового покровителя. Оценила она и его практические дарования. Настенька ясно чувствовала, что за ним не пропадешь. Этой уверенности Штааль никогда ей не внушал. Он, напротив, был ей мил тем, что за ним пропасть было очень легко. Настенька не без удивления замечала, что оба чувства приятны. Она сама не знала, какое лучше.

Радости от сюрприза, преподнесенного Иванчуком, Настенька не выразила главным образом потому, что отвыкла выражать радость. Ей надоел Петербург с его дурными воспоминаниями, с людьми, которые часто и, как ей казалось, нарочно бередили эти воспоминания. Балет утомлял Настеньку. Она делала вид, будто очень любит сцену, – так было принято в ее кругу. В действительности она не только не любила балета, но и плохо верила, что другие могут его любить. Сама она с удовольствием навсегда бросила бы сцену. Поездка «в деревню» была ей очень приятна. Немного ее смущало лишь то, что в дороге им, очевидно, предстояло оставаться круглые сутки вместе: она с беспокойством думала, что надо будет все время поддерживать разговор. Настенька знала, что она не мастерица разговаривать, и всегда боялась, как бы ее за это не разлюбили. В Петербурге она с Иванчуком, занятым целый день, проводила не более часа, двух в сутки, и ей никогда с ним вдвоем не бывало тяжело, разве лишь немного скучно. С

любопытством Настенька думала и о том, что сможет выйти из их совместной поездки. Иванчук не раз делал ей таинственные намеки, но тотчас торопливо переводил разговор, когда она пыталась выяснить их значение. «Уж не жениться ли хочет?» – думала она с искренним недоумением: ей было непонятно, зачем бы Иванчук на ней женился, когда он и так имел от нее все, что мог иметь. А между тем смысл таинственных намеков сводился как будто именно к женитьбе. «Что ж, я бы пошла, – думала нерешительно Настенька, не без задорной радости представляя себе лица подруг, когда она им объявит, что выходит замуж за Иванчука. – Не то что пошла бы, а за счастье должна почитать, – тотчас же наставительно поправляла она себя, – да никогда он и не подумает». Настенька приучала себя к мысли, что Иванчук не подумает на ней жениться. У нее была такая привычка – оставлять возможную удачу про запас: выйдет, и слава Богу, а не выйдет, что ж, никто и не ждал.

В утро, назначенное Иванчуком для отъезда, Настенька с особенной ясностью почувствовала, что за ним никак не пропадешь. Иванчук заехал за ней к шести часам в превосходной, обитой сафьяном, заваленной подушками коляске четверкой. На нем был, под серым английским плащом, перловый фрак с перламутровыми пуговицами и мягкие сапоги с отворотами, а в руке он держал трость с серебряным набалдашником, изображавшим голову мопса. Настенька даже удивилась, зачем он в дорогу надел столь нарядный костюм. Иванчук снисходительно объяснил ей, что именно такого цвета фрак под плащом не слишком запылится; на станциях же надо быть хорошо одетым, чтоб уважали.

И действительно, уважали их в дороге чрезвычайно. У Иванчука была такая подорожная бумага, что на каждой станции все, во главе со смотрителем, неизменно выходили их провожать и низко кланялись, хоть Иванчук оставлял на чай именно столько, сколько полагалось, даже немного меньше. Путешествовали они с необыкновенными удобствами. В коляске, обитой сафьяном, было решительно все, что могло пригодиться в дороге, от сабли и охотничьего ружья до ящичков с конфетами и банок с вареньем. Иванчук, очень редко путешествовавший, превосходно знал, как нужно путешествовать. И ездить с ним было очень приятно. Настенька совершенно не чувствовала той неловкости, которой боялась. Он предупреждал все ее желанья. Когда ей не хотелось разговаривать, они не разговаривали. Когда хотелось дремать, дремали очень уютно, без всякого стеснения, плечом к плечу. На станциях после обеда случалось им заниматься и чтением. У Иванчука в одном из вкладных ящичков коляски оказались книги: «Павел и Виргиния» и «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами (продажными)». Эту книгу Иванчук на ночевках заставлял Настеньку читать вслух, что, видимо, доставляло ему необыкновенное удовольствие. Сначала Настеньке было стыдно, но потом и она полюбила эту забаву.

ХІІІ

Штааль был послан в Киев и Одессу со служебным поручением, но, в отличие от Иванчука, прогонные получил лишь в обрез: поручение, очень пустое, само по себе могло считаться наградой, как бы продолжительным отпуском. Для сокращения расходов Штааль уговорился ехать с де Бальменом, который отправлялся на юг к родным. Ехали они то на почтовых, то на обывательских, без больших удобств: у них не было ни подорожной Иванчука, ни его уменья устраиваться. Тем не менее их поездка оказалась также чрезвычайно приятной.

У заставы, возле которой стояли конные и пешие люди, вооруженные с ног до головы, пристав Тайной экспедиции внимательно просмотрел бумаги отъезжающих, справился в какой-то книге, что-то записал и затем сказал угрюмо: «Можете ехать», не прибавив даже слова «господа». Они вздохнули с облегчением, когда шлагбаум (только что введенная вместо рогаток новинка) и выкрашенные в косую полосу будки скрылись за облаком пыли. Штааль высказал несколько вольных мыслей о Тайной экспедиции. Де Бальмен горячо его поддержал.

Заговорили о книгах, преимущественно французских и вольнолюбивых. Читали они приблизительно одинаково, но Штааль естественнее бросал слова «да, когда-то читал», когда речь заходила о книгах, ему не известных, и слушал он суждения де Бальмена с легкой насмешливо-благодушной улыбкой, которая незаметно закрепила за ним превосходство. От книг они перешли к предметам более близким к жизни. Еще до первой остановки Штааль знал разные школьные истории де Бальмена, а де Бальмен – приключения Штааля в Италии, в Париже, в походе. О своих путешествиях Штааль научился рассказывать очень тонко: сказал, что в Италии всего лучше Равенна, не в пример Риму и Венеции; а из парижских памятников искусства восторженно похвалил церковь Святого Иулиана – «ее мало кто знает», – небрежно вставил Штааль. Де Бальмен, ничего не слыхавший ни о Равенне, ни о церкви Святого Иулиана, проникся большим уважением к своему старшему товарищу.

Пригородные строения исчезли. Показались настоящие поля. Грязноватый, неподвижный, поросший тиной пруд умилил путешественников-горожан. Вскоре по их выезде из Петербурга пошел легкий весенний дождь, и после него повеяло таким ароматом, что оба совершенно ошалели.

«Будет, будет Шевалье моею», – решительно подумал Штааль.

– Как хорошо вояжировать! Право, осточертела служба, – сказал неожиданно де Бальмен. – Ничего нет лучше свободы.

– Ну, разумеется, – совершенно искренне согласился с ним Штааль.

На первой станции они решили отобедать, несмотря на ранний час. Оказалось, что получить к обеду можно все что угодно. Они заказали студень с солеными лимонами, похлебку с каштанами и пармезаном, белужий паровой схаб, паштет с трюфелями, утку с фиговыми ягодами. Потребовали они и бутылку шампанского и тут же выпили на «ты», почувствовав с удовлетворением, что очень нравятся друг другу. Де Бальмен принадлежал к людям, неизлечимо большим желанием нравиться каждому. Штааль же еще в Петербурге замечал, что этот юноша менее неприятен ему, нежели другие люди. Он совершенно не испытывал желания говорить неприятности де Бальмену – это с ним теперь случалось нечасто, особенно в обществе людей молодых. На станции за шампанским началось их настоящее прочное сближение. Они заговорили о женщинах, были употреблены не принятые в литературе слова, и сразу исчезли последние следы напряжения, немного чувствовавшегося вначале. Полились рассказы. Оба оказались Геркулесами и вдобавок совершенно извращенными людьми. Ни один не хотел отставать – Штааль потому, что был старше, де Бальмен потому, что был моложе. Верили они друг другу не слишком, но слушали с большим любопытством: каждый старался по собственному опыту сделать верную количественную поправку к рассказам другого. Штааль рассказал и о своем первом дебюте, причем сразу обеспечил себе победу, отнеся этот дебют к тринадцатилетнему возрасту.

– Нет, я начал позже, я на пятнадцатом году, – тотчас сказал де Бальмен с самым правдоподобным смущением. Штааль пространно развил мрачные мысли о любви. «Все это очень преувеличено в книжках, – пренебрежительно говорил он. – В двадцать лет, разумеется, это очень мило. А потом, право, надо и стыд иметь...» Де Бальмен улыбался и с полной искренностью мотал отрицательно головою: он никак не находил, что все это преувеличено. Напротив, каждую хорошенькую женщину, которая ему не принадлежала, он рассматривал как личную потерю. Штааль пожимал плечами, все более впадая в тон Ламора в разговоре со своим молодым другом.

– Что ж, ты еще клоп... А моя молодость давно кончена.

Он взглянул на де Бальмена, ожидая возражений, и испытал легкое неприятное чувство от того, что возражений не последовало.

– Ах, в мои годы Цезарь завоевал мир, – не совсем кстати сказал задумчиво де Бальмен.

– Не Цезарь вовсе, а Александр Македонский, – поправил Штааль.

– Ну, все равно, я и в тридцать не завоюю...

– И не надо, незачем тебе, Сашенька, завоевывать мир. А вот разбогатеть нам с тобою не мешает. Особенно мне. В двадцать пять лет, право, уж и смешно быть бедным, – никакой больше поэзии.

– И в двадцать с поэзией довольно, брат, глупо.

Штааль бессознательно скинул себе для круглого счета один год; де Бальмен так же бессознательно один год набавил.

– Впрочем, мы не об этом говорили, – сказал де Бальмен. – Ты знаешь, у меня самые интересные знакомства завязывались в пути...

Он рассказал о любовных приключениях, случавшихся с ним в дороге. Де Бальмен чувствовал, что Штааль ему верит плохо, и это его обижало, так как из рассказанных им историй одна действительно почти целиком соответствовала правде.

В эту поездку как назло никаких дорожных приключений и знакомств у них не выходило. Они ограничивались критическими замечаниями насчет попадавших на станциях женщин.

Ехали они не торопясь, хоть для приличия (так делали все) устраивали иногда скандалы зрителям, не дававшим лошадей. Ни родные де Бальмена, ни служебное поручение Штаала не требовали спешки. Стояла поздняя весна, переходившая в лето по мере их приближения к Киеву. Днем уже бывало жарко. Но езда в утренние и предвечерние часы доставляла им истинное наслаждение. Особенно приятно было ехать лесом. Иногда вечером, когда все стихало и сквозь густую чащу деревьев переставал просвечивать закат, в лесу бывало немного жутко. Вспоминались смутно рассказы о каких-то неизвестно где находившихся Брынских, Муромских лесах, о берлогах разбойников, о свирепых атаманах. Штааль и де Бальмен, точно для забавы, заставляли ямщика рассказывать о страшных дорожных приключениях и, слушая его, смеялись, однако несколько нервнее обычного. Было бы странно, если б разбойники напали на экипаж, в котором путешествовали два хорошо вооруженных человека (с ними в бричке был целый арсенал). Но все-таки выезжали они из лесу не без удовольствия. Штаалу казалось, что именно в эту поездку он по-настоящему узнал и полюбил Россию. Он гордился ее необъятными пространствами, бесконечно тянувшимися, нигде не виданными лесами, гордился своей принадлежностью к миру, который зовется Россией. Здесь в глуши (глушь начиналась в пятидесяти верстах от петербургской заставы) ничего не знали о том, что делается в столице. Ею интересовались ненамного больше, чем Лондоном или Парижем. Де Бальмен, любивший смелые афоризмы, сказал, что между Петербургом и Россией лежит пропасть. И пропасть эта тоже как-то льстила их национальному самолюбию. Для развлечения они подолгу играли в карты. Играли и на станциях, и в коляске, положив на колени шкатулку и придерживая карты от ветра.оборот не превышал десяти рублей, но выигрыш записывался аккуратно, и на остановках производилась расплата. Пробовали они было играть без денег, но тотчас бросили, почувствовав, к своему удивлению, что это неинтересно (хоть несколько рублей ни для одного из них счета не составляли). «Значит, я по натуре игрок», – не без удовлетворения подумал каждый. Когда играть надоедало, они показывали друг другу карточные фокусы. Впрочем, фокусов они знали немного, а некоторые вдобавок не выходили с первого раза (что очень расхолаживало) или были известны обоим и тогда обрывались на смущенном смехе фокусника. Иногда они с подчеркнутой шутивостью передергивали вольты. Эту забаву полагалось знать каждому светскому человеку, но оба испытывали некоторую неловкость, если хорошо выходило.

В дороге они довольно много пили и всякий вечер, ложась, были не то что пьяны, но чрезвычайно бодрь, благодушны и оживлены. Вино очень скрашивало жизнь. За вином завязывались и самые приятные, самые интимные разговоры. Де Бальмен предпочитал шампанское, Штааль – обыкновенную водку; в том и в другом был, как оба они чувствовали, свой стиль.

Штааль все больше забывал свою мизантропию и по-настоящему привязался к де Бальмену. «Право, очаровательный мальчик», – говорил он себе, точно оправдывая перемену своего мрачного нелюдимого настроения. Он находил в своем молодом спутнике много живости, юмора, неподдельного веселья; все это никогда его не раздражало, как раздражало прежде в Рибопьере, в других очень молодых людях, в сущности на де Бальмена довольно похожих. Де Бальмен хорошо рассказывал и, к особенному удовольствию Штааля, отлично передразнивал разных общих знакомых. Штааль приставал к своему другу, чтобы тот изобразил и его самого. Де Бальмен долго от этого уклонялся. «В тебе, видишь ли, ничего такого забавного нет, уцепиться не за что, право», – говорил он. Это льстило Штаалу, но он упорно повторял: «Ну, да уж как-нибудь, умоляю тебя, я уверен, пресмешно выйдет». Однажды в конце обеда де Бальмен наконец согласился, подумал немного, встал и прошелся по комнате. Штааль очень удивился, глядя на появившееся перед ним скучающее, кислое лицо с примесью самодовольства и без всякой самоуверенности в выражении, на распущенную, шаркающую по полу походку.

– Нет, совершенно непохоже, – сказал он. – Ты, надеюсь, понимаешь, я не потому говорю, что это обо мне: просто непохоже. Разве я так хожу? Это, прямо скажу, тебе не удалось.

– Да, конечно, не удалось, – поспешил признать де Бальмен.

Штааль говорил своему другу и о Настеньке, и о госпоже Шевалье. О своей связи с Настенькой он рассказывал по-разному: то весело-цинично, в обычном тоне их разговоров о женщинах, то с некоторой меланхолией, показывая, что дело в свое время было не такое уж легкое и веселое. А о госпоже Шевалье, в самом конце их путешествия, он рассказал де Бальмену очень кратко и уж совсем неопределенно, так что оставалось неясным, было ли у них что-либо или нет. Почему-то это сообщение неприятно задело де Бальмена, хоть он сразу склонился к выводу, что ничего не было. Ему даже в первый раз за всю дорогу захотелось сказать Штаалу колкость. Он этого не сделал, но не поддержал разговора о госпоже Шевалье. Оба они вдруг почувствовали, что как будто маленькая трещинка образовалась в их дружбе. Впрочем, это продолжалось лишь мгновение и прошло совершенно бесследно.

Простились они в Броварах, с самым искренним огорчением, взяв слово друг с друга писать часто и «обо всем». Де Бальмен бывал прежде в Киеве и на этот раз там не останавливался. Он посоветовал Штаалу снять комнату в нижнем городе у купца, как обычно делали, или хоть на постоялом дворе. Ему было известно, что в гостинице на Печерске должен был, по его же указанию, остановиться Иванчук, выехавший незадолго до них (Штааль этого не знал). У де Бальмена промелькнула было мысль устроить Штааля в одном месте с Настенькой – этот сюрприз мог быть забавным. Но он тотчас отказался от соблазна неделикатной шутки.

XIV

Ямщик остановился на повороте дороги, снял шапку и перекрестился. Вдали блестели купола киевских церквей. Коляска долго стояла у колодца. Поили лошадей. Затем тронулись дальше шагом. Дорогу постоянно заграждали богомольцы, число которых все увеличивалось по мере приближения к городу. Жаркий, совсем почти летний, день кончился. Разгорался закат, заливая багровым пламенем изжелта-лиловое небо.

Когда они подъехали к Днепру, уже было почти темно. Повеяло сырой прохладой. Впереди показалась отсвечивавшаяся последними огнями неба стальная, быстро темневшая, местами уже черная лента, загигавшаяся где-то вдали. «Вот он, Борисфен», – сказал вслух Штааль, настраиваясь на торжественный лад. Ямщик подтянулся на козлах и осторожно спустился к реке. Через Днепр переезжали по плавучему мосту на барках. Почерневшая река казалась неровной и неудобной, несмотря на тихую погоду. Справа на Трухановом острове уже зажигались редкие, отражавшиеся далеко в воде фонари. Мост дрожал. Перил не было. Лошади пугливо озирались, у ямщика вид был озабоченный. Штааль вздохнул свободно, когда они

съехали с моста и медленно пошли в гору. Беловатый полукруг месяца быстро желтел, наливаясь огнем. На потемневшем небе показалась дрожащая звезда и долго оставалась одинокой. Потом сразу вызвездило все небо. Воздух был свеж необыкновенно. С обеих сторон шедшей по холмам зигзагами дороги тянулись мрачные леса. Кое-где горели костры богомольцев.

– Аскольдова могила, – сказал ямщик. Штааль высунулся из экипажа.

– Где? – спросил он. Ямщик неопределенно ткнул рукой в пространство. Штааль не видел никакой могилы. Везде грозно чернел неподвижный лес. Имя Аскольда было знакомо Штаалю и как-то связывалось в его памяти с Киевом, но Штааль решительно не помнил, кто это: не то он кого-то здесь убил, не то его здесь убили. «Верно, его убили, иначе и могилы бы не было», – основательно заключил Штааль. Помнил он еще, что кроме Аскольда был какой-то Дир. «Кажется, и Дира тоже убили, а вот могила называется Аскольдовой», – подумал он, с улыбкой чувствуя легкую обиду за Дира и раздражение против Аскольда за то, что выскочил. Так в училище говорили о совавшихся вперед товарищах. «Колька Петров любил выскакивать, мы его раз за это вздули. А то еще были Кий, Щек и Хорив. Эти, я помню, основали Киев... Больше, хоть убей, ничего не помню и не знаю, что за люди, не то поляне, не то древяне, не то еще какие-то “ляне”. Эх, плохо нас учили, стыдно не знать отечественной истории», – печально думал Штааль.

В Киев коляска въехала поздним вечером. Поэтически настроенный лесом, кострами и звездами, Штааль осматривался по сторонам и никак не мог понять, начался ли уже город или нет. То шли длинные строения, то тянулись бесконечно пустыри. У ворот каждого дома, под фонарями, по-дачному уютно сидели люди. «Конечно, это и есть город», – решил Штааль. Но скоро коляска опять въехала в лес и стала спускаться по совершенно пустынной неосвещенной местности, которая называлась Липки (это название показалось Штаалю как-то не совсем русским). Затем снова появились фонари, дома, большей частью маленькие, одноэтажные, разделенные садами, люди на завалинках у ворот. Коляска затряслась по мостовой, ямщик прибавил ходу. «Ишь ты, и мостовая кое-где есть», – подумал насмешливо Штааль. Оказалось, что прежде они ехали по верхнему городу, Печерску, а здесь был нижний город. Подол.

Постоялый двор оказался не лучше, а скорее хуже тех, в которых Штааль и де Бальмен останавливались в самых глухих городах по дороге. В неосвещенном коридоре дурно пахло. Комната, отведенная Штаалю, была хоть и большая, но грязная и плохо обставленная, а к ужину, кроме чая, ничего нельзя было получить. Штааль, сильно проголодавшийся в пути, вынужден был поужинать остатками дорожных запасов. Где-то в соседнем дворе играли на гармонике. Замиравшие вдали звуки навели тоску на Штааля. Он с особенной грустью вспомнил о де Бальмене – ему было очень без него скучно. «Где он теперь, Саша? Тоже, верно, скучает на почтовом дворе...» Штааль лег спать в самом печальном настроении. Всю ночь его кусали насекомые. Из постели что-то торчало колом. Белье было шершавое. Несмотря на усталость, Штааль заснул только глубокой ночью.

Когда он проснулся, комната вся была залита косыми дрожавшими золотыми лучами и показалась ему уже не такой гадкой. Штааль повеселел, быстро оделся и в седьмом часу утра вышел из гостиницы. Людей на улицах попадалось немного. Дома были очень убогие, скорее лачуги. «Так это Киев?» – разочарованно думал Штааль. Он поднялся на Крещатик, в рошу, погулял в ней зевая, съел на ходу купленный тут же крендель с моченым яблоком, затем по узенькому деревянному мостику перешел в Царский сад. Здесь насмешливое настроение с него соскочило. Сад был изумительный – такого он никогда и не видал. Штааль долго поднимался по крутым аллеям, вышел к обрыву и оттуда любовался рекою. «Верно, здесь в старину были терема над Борисфеном», – подумал он, зная, что древность – одно из главных достоинств Киева. Полюбовавшись Днепром, он вышел к крепости, взял извозчика и поехал осматривать город.

Штааль скоро составил себе мнение и впоследствии с чувством говорил столичным приятелям, что Киев сохранил следы величия павшего. Город, раскинувшийся на горах, весь утопавший в зелени, был в самом деле удивительный. Великолепные монастыри, старинные здания, пышные сады чередовались с огородами, с грязными лачугами. Штааль думал, что в Киеве разлита какая-то особенная печаль, странно сочетающаяся с жарким южным солнцем. Впрочем, как всегда бывает, первое впечатление от нового места определилось больше настроением духа путешественника. Штаалю было очень скучно в этом городе, где он никого не знал. Он чувствовал себя одиноким, как когда-то в Париже. Удивляло и смешило Штаалья, что извозчик называл его «паничем», что вместо «не знаю» прохожий на его вопрос об адресе присутственного места ответил: «не скажу», что на аптекарском магазине была вывеска «Аптечный склад». Удивила его и киевская полиция. Вместо будочников на перекрестках стояли конные милиционеры (Штааль и слова этого не знал), очень пышные и странные с виду. Лошади у них, точно у средневековых рыцарей, были в стальных панцирях, со страусовыми перьями над гривой. А всадники, вооруженные копьями и палашами, носили атласные пунцовые жупаны, зеленые контуши с откидными рукавами и белые шапки. «Поляки какие-то, – с недоумением думал Штааль. – А еще мать городов русских...»

По незастроенной горе извозчик шагом поднялся в Старый Город. Открылась огромная белая площадь. На ней было еще светлее, чем внизу, как-то необыкновенно светло. Даже в Италии Штааль не видал такого обилия света. В Италии все было меньше. Эта раскрашенная киевским солнцем площадь по размеру не уступала Парижской Place de la Révolution. В памяти Штаалья она осталась белым пятном несравненной красоты. Со всех сторон виднелись церкви. Высоко над белыми стенами горели золотые купола. Слева за белой оградой раскинулась церковь, не похожая на другие, не похожая вообще ни на что из всего виденного Штаалем. Он долго на нее смотрел.

– Это что же, Лавра? – спросил извозчика Штааль, неохотно нарушая молчание.

Извозчик покачал головою.

– Не, панич, яка Лавра! – сказал он недовольным тоном. – Лавра на Печерске... Це Софийский собор.

«Кажется, это очень древняя церковь, чуть ли ей не тысяча лет», – подумал Штааль, опять сердясь на себя за то, что так плохо знал историю своей страны. Он еще оглянулся. Огромный собор (кое-как оправившийся в ту пору от разрушений XVII века и от мазепинской реставрации) лучше можно было разглядеть с другого конца площади.

«А ведь это не русский штиль? – нерешительно подумал Штааль, сходя с дрожек. – Русский штиль – это Василий Блаженный. А может, то не русский, ведь это будет подревнее. Ну, уж я не знаю, какой это штиль, только лучше этой площади и этого храма я ничего в мире не видывал. Белое с золотом, как просто и как хорошо...»

Он обошел вокруг церкви. Извозчик недоверчиво ехал за ним шагом. Штааль снял шляпу и очутился за оградой, замешавшись в толпу богомольцев. «Какая громада – другой такой в мире нет, разве парижская Notre Dame, – сказал себе неожиданно Штааль, почему-то сравнивая обе церкви. – Вот уж сходства никакого: день и ночь. А все-таки...» Он не знал, какое тут все-таки. Солнечный свет вдруг погас. Горели восковые свечи. Штааль с наслаждением вдыхал прохладный, дышащий ладаном воздух.

Старый монах объяснял богомольцам, что церковь построена великим князем Ярославом. «Как будто не менее тысячи лет, – подумал Штааль еще нерешительнее. – Всякие у нас были Ярославы, Святославы, Мстиславы, Изяславы – разве это можно запомнить? – Он постоял перед Нерушимой Стеной. – Чудо, как красив! – подумал Штааль, отходя за толпою, следовавшей за монахом (в качестве Вольтерова ученика он только красоты и искал в храме). –

Изумительно! Как странно, что тысячу лет назад люди умели создавать такое...» Его немного задевало, что старый монах, видимо, не делал никакой разницы между ним и богомольцами и не обращался к нему особо. В алтаре Владимирского придела они остановились перед гробницей князя Ярослава. На двускатной крыше мраморного иссиня-белого саркофага были изображены странные фигуры: не то птицы, не то звери, не то рыбы. Штааль долго думал, что это могло бы значить. Неразгаданная мысль неизвестного художника, жившего тысячу лет тому назад, его волновала. Он отделился от богомольцев, вернулся к Нерушимой Стене, поднялся по лестнице. Где-то из-под облупившейся штукатурки виднелись потускневшие фрески, видимо очень старые. Штааль взгляделся в них. Фрески изображали охоту. Были здесь грифоны, крылатые львы, разные диковинные звери. Фрески показались знакомыми Штаалю. «Неужели и это создано в ту пору?.. Какую же Петр нам открыл Европу, ежели у нас было это за тысячу лет назад? – спросил себя Штааль, с все большим удивлением глядя на фрески. – Ведь это прямо Венеция...»

XV

«Разве делом теперь заняться?» – спросил себя Штааль и велел извозчику ехать в присутственное место. Главное его служебное поручение относилось к Одессе, с которой адмирала де Рибаса тесно связывала прежняя служба. В Киеве же требовалось только получить одну сводку.

Канцелярия, как все в этом городе, помещалась в саду. Штааль и не видал таких канцелярий. На крыльце баба чистила картофель. Она с любопытством оглядела посетителя, стыдливо засмеялась и указала, как пройти в «габинет к сесару». Ассессор коллегии, ведавший делом Штааля, был пожилой человек настолько неправдоподобной толщины, что Штааль, увидев его, даже приостановился на пороге. По-видимому, ассессор и сам не мог вполне серьезно относиться к своему телосложению. Не без труда скосив голову, он сопя уставился на Штааля с легкой благодушной насмешкой во взгляде, как бы свидетельствуя, что это серьезно: никакой подделки нет. Оглядев гостя, он медленно повернул голову и окунул кренделек в стакан с мутно-белой жидкостью. Перед ассессором, среди бумаг и на бумагах стояли чайник, тарелки со сметаной, с колбасой. Штааль подал свой документ. Ассессор неохотно взял его, кивнул головой и, жуя кренделек, предложил сказать так, в чем дело. Выслушав Штааля, он опять скосил голову, тяжело вздохнул и спросил:

– Чаю не хотите?

– Благодарю вас, я уже позавтракал, – ответил несколько озадаченный Штааль.

– С рогаликом?

Штааль отказался и от рогалика. Чиновник налил себе другой стакан чая, отогнал муху, которая села на край тарелки, скороговоркой сказал: «Пошла к... проклятая!» – и накрыл сметану бумагой Штааля.

– Шо много ем, это ничего, – сказал он неожиданно. – Все одно, кондрашка. Чи годом раньше, чи годом позже, все одно.

Ассессор хорошо говорил по-русски и слова «шо», «чи», «хочете» употреблял больше для малороссийского стиля, который шел к его наружности: он гримировался под медлительного картинного «дядька» и, отстаивая вольности края, из патриотизма портил свою русскую речь. Ассессор намазал кусок хлеба маслом и осведомился, правду ли говорят, будто князь Зубов не имеет больше никакой силы. Штааль высоко поднял брови. Ассессор упорно на него глядел с радостно-вопросительным выражением на лице.

– Так точно, – сказал Штааль, зевая.

Ассессор подмигнул, засмеялся и пригласил гостя к себе на обед. Штааль сухо отклонил неожиданное приглашение: его весьма мало интересовало общество человека, для которого свежей новостью была опала князя Зубова. Отказ, видимо, удивил и огорчил ассессора.

– Борщ будет, – сказал он, с недоумением глядя на гостя. – С бурачками.

– Когда же прикажете прийти за сводкой? – официальным тоном спросил Штааль.

Ассессор вздохнул и задумался.

– Недели через три не поздно? – спросил он с испуганным выражением на лице.

Штааль всплеснул руками: он рассчитывал получить бумагу на следующий день.

– Помилуйте! – воскликнул он. – Я завтра хотел выехать в Одессу.

– Шо Одэсса? Чи куда-с убежить? – спросил ассессор с чрезвычайно убедительной интонацией. Штааль невольно подумал, что, собственно, и вправду торопиться некуда: Одесса в самом деле не убежит и ему же лучше, если не по его вине затянется командировка. Однако из приличия он стал торговаться. Ассессор вытер лоб грязноватым клетчатым платком.

– Бумага длиннющая, пане добродее, – сказал он. – Ну, да уж если вам такая спешка, так забегите неделки через две. Так и быть, изготовим.

Они сошлись на том, что сводка будет готова через неделю; но по тону ассессора чувствовалось – особенно полагаться на обещания не следует. Штааль намекнул, что считает неправильным и недопустимым такое отношение к государственным делам.

– Вы где остановились, пане добродее? – спросил, не дослушав, ассессор.

– На Подоле, на постоялом дворе.

– Ну вот, ведь блохи заедят, – сказал ассессор и оживился, услышав, что Штаалю в самом деле всю ночь не давали спать насекомые.

– Ну да, итальянской породы блохи, – пояснил он. – Хоть маленькие, а такие подлые, что беда...

Увлечшись, он заговорил чистым русским языком, выбрал русское правительство, а затем посоветовал Штаалю переехать в другую гостиницу на Печерск, к немке.

– И кормят так, что спасибо скажете, дай Бог всякому, и блох нет, разве самая малость. Правда, подороже, да ведь вы на казенный счет, правда?.. И немка славная... Краля дивчина, – добавил он, спохватившись.

Штааль расспросил, как разыскать гостиницу, и несколько ласковее простился с ассессором. Он даже пожалел, что отказался от приглашения на обед: уж очень картинный был ассессор. С такого толстого человека, собственно, и требовать было нечего. Баба на крыльце опять стыдливо засмеялась и застенчиво закрыла лицо рукавом. «Вот так канцелярия», – подумал Штааль, выходя в сад. Он вернулся на постоялый двор и велел вынести свои вещи. Их вынес с очень недовольным видом сам хозяин. Штааль беспокоило пересчитал чемоданы и приказал извозчику ехать на Печерск в гостиницу к немке. Коляска поднялась по горе и въехала в уже знакомый ему лес. «Станный, странный город, и люди странные», – говорил себе Штааль.

Извозчик остановился у калитки сада, обведенного ровным, непохожим на другие, заново выкрашенным забором с острыми иглами наверху. Штааль слез и, поколебавшись с минуту, можно ли оставить извозчику вещи, решительно направился к калитке: извозчик, возивший его в течение нескольких часов, внушал ему доверие. В саду чудесно пахло сиренью. Дорожки были посыпаны желтым песком, который так и горел на солнце. Штаалю бросились в глаза круглый фонтан посредине садика, беседка с мраморной статуей и ярко сиявший зеркальный шар на столбе. В глубине сада стоял чистенький одноэтажный белый дом с зеленой покатою крышей. Все это совершенно не походило на подольский постоялый двор. Навстречу Штаалю поспешными шагами шла, приветливо улыбаясь, полная миловидная дама.

– Пан шелайт апартемант?.. – начала она и вдруг громко ахнула. – Du, lieber Gott!⁶⁰ – воскликнула дама.

Штааль тоже ахнул от радостного изумления: перед ним была фройлейн Гертруда, та самая, за которой он когда-то ухаживал в Кенигсберге.

Через четверть часа он знал все существенное, что с ней произошло за последние семь лет. Отец ее четыре года тому назад скоропостижно умер от удара (фройлейн Гертруда вынула беленький платочек и приложила его к глазам). С кончиной отца их дело пошло хуже, а тут у самой фройлейн Гертруды вышла очень неприятная, тяжелая история с одним господином, который, хотя и был чиновником, ein Staatsbeamte, однако оказался чрезвычайно дурным человеком. При этих словах фройлейн Гертруда опять было поднесла платочек к глазам, но тотчас отняла, взглянув на улыбающегося Штааля, и добавила с жаром: «Ein furchtbarer Mensch, Herr Leutnant, aber wirklich ein furchtbarer Mensch!...»⁶¹ После этой истории фройлейн Гертруде неудобно было оставаться в Кенигсберге (Denken Sie nur, Herr Leutnant!.. Hatte ich Recht oder nicht?⁶²). Она продала предприятие отца, переехала в Россию и открыла гостиницу в Киеве по совету двоюродной тетки ее покойной матери. «Это та самая тетка, которая маленькой девочкой видела в Цербсте покойную императрицу Екатерину», – пояснила фройлейн Гертруда, и по ее интонации Штааль понял, что тетка эта должна быть ему известна. Он утвердительно кивнул головой и сказал наудачу: «Ach, ja»,⁶³ хотя никакой тетки не помнил. Штааль узнал, что в Киеве дела фройлейн Гертруды идут недурно; правда, среди проезжающих много грубых людей, ganz unperzogene Leute,⁶⁴ но в общем грех жаловаться, а она всегда всем довольна: «Hab'ich Recht oder nicht?»⁶⁵ Фройлейн Гертруда рассказывала это Herr Leutnant'у (так она его застенчиво называла) очень быстро и сбивчиво. Затем она прослезилась, вытерла слезы и засмеялась. Видимо, она совершенно растерялась от радости. Штааль тоже был искренне обрадован встречей и растроган поднявшимися в нем воспоминаниями и радостью фройлейн Гертруды. Он взял ее руки обеими руками, свидетельствуя свое умиление этим не вполне естественным жестом. Фройлейн Гертруда изменилась и пополнела, но оставалась по-прежнему хорошенькой, и в глазах ее было то же небесно-чистое выражение. Штааль вдруг почувствовал с совершенной ясностью, что им предстоят радости любви, и притом не долее как нынче вечером, если еще не днем после обеда. Он видел также по лицу фройлейн Гертруды, что и ей это вполне ясно. Она заговорила вдруг, вперемежку со многим другим, о той самой любовной истории, которую они вместе читали в Кенигсбергском саду, о «Вертере» доктора Гёте и заодно быстро-быстро рассказала, что ей, уже после их встречи, ее подруга (та самая, Herr Leutnant помнит) писала о докторе Гёте и сообщала самые удивительные и интересные вещи, которые... Ну тут фройлейн Гертруда всплеснула руками, внезапно вспомнив, что извозчик Herr Leutnant'a все еще стоит у ворот. Она ахнула, выбежала за калитку, велела снять вещи и расплатилась. Извозчик после этого долго ругался самыми нехорошими словами, к чему фройлейн Гертруда отнеслась, однако, совершенно хладнокровно.

Вещи были внесены по лестнице, пахнувшей свежесмытым деревом, в просторную чистую комнату, в которой было все, что требовалось: плюшевый диван, стол, два кресла, умывальник с зеркалом и с палочкой сбоку для полотенец, превосходная постель с белоснежными подушками. Были и украшения: часы, сделанные в брюхе поднявшегося на дыбы коня, фар-

⁶⁰ Боже, это ты! (нем.)

⁶¹ «Это был ужаснейший человек, господин поручик, в самом деле ужаснейший человек!.. (нем.)

⁶² Только представьте себе, господин поручик!.. Права я или нет? (нем.)

⁶³ «О, да» (нем.).

⁶⁴ Совершенно невоспитанные люди (нем.).

⁶⁵ «Права я или нет?» (нем.)

форовый Фридрих Барбаросса, виды Саксонской Швейцарии и портрет Анны Леопольдовны. Окно выходило в сад, и под ним, заползая ветвями на подоконник, поздняя сирень пахла бесстыдно-крепко. Фройлейн Гертруда налила воды из кувшина в чашку умывальника, нерешительно оглядываясь, оправила полотенце и затем выразила намерение удалиться. Но Штааль решительно этому воспротивился. Он заявил, что не умеет мыться без чужой помощи: ему всегда льют воду на руки из кувшина; он выразил надежду, что фройлейн Гертруда не откажется ему помочь.

– Aber selbstverständlich, Herr Leutnant!⁶⁶ – воскликнула с умилением фройлейн Гертруда. Штааль снял мундир, попросив у нее извинения. Она конфузливо кивнула головой, но не сказала «aber selbstverständlich» и, сливая ему воду на руки, старалась смотреть немного в сторону. Однако это их сблизило. Умывшись, Штааль опустился на колени и открыл свой сундук. Фройлейн Гертруда придерживала крышку сундука, уже с материнской нежностью глядя на густые мокрые волосы, на белую, сверху загоревшую шею молодого человека. В сундуке на самом верху лежали флаконы французских духов. При виде их фройлейн Гертруда застонала от восторга. Штааль немедленно подарил ей флакон духов Noubigant, ловко его откупорил и с нежной улыбкой провел смоченной стеклянной пробкой по бровям и по верхней губе фройлейн Гертруды, которая густо покраснела. Штаалю пришло в голову, что, собственно, нет никакой причины откладывать решенное дело до вечера или даже до послеобеденного часа. Та же мысль пришла одновременно и фройлейн Гертруде.

XVI

Столовую гостиницы Штааль тотчас узнал. Она очень походила на ту комнату, в которой он когда-то познакомился с фройлейн Гертрудой. Только камин заменяла печь и все было хотя и чисто, однако несколько менее чисто, чем в Кенигсберге. «Верно, и belegte Brödchen⁶⁷ есть, с кильками и с яйцом», – подумал, улыбаясь, Штааль. Он устало сел за приготовленный для него у открытого окна стол. Девка в деревянных башмаках, надетых на босу ногу и, видимо, очень ее стеснявших, принесла на подносе серебряный кофейник, кувшинчик горячих сливок, граненый толстостенный стакан, масло, ветчину, яйца и расставила все перед гостем, испуганно на него глядя. Штааль позавтракал с большим аппетитом, лениво думая о случившемся. Что-то было ему неприятно. «Жаль, правда, нет де Бальмена, – вдруг догадался он. – Вот бы ему рассказать... Напишу, конечно, да он, пожалуй, не поверит: так долго ехали вместе – ни одного приключения, а как остался один, ан сразу и приключение...»

Боязливая девка, стуча башмаками, принесла ему блюдо земляники (которая здесь, впрочем, называлась клубникой). Вслед за девкой в столовую спустилась фройлейн Гертруда. Она переделалась и принарядилась. На ней было теперь очень узкое голубое платье с красным бантом (платье это, по-видимому, еще более напугало девку). Фройлейн Гертруда с нежной, застенчивой улыбкой подошла к Штаалю и присела за его столик. Она как будто чего-то ждала и, немного помолчав, с легким укором напомнила Штаалю, что это то самое платье, которое было на ней тогда, в Кенигсберге. Она надеялась, что Vube⁶⁸ сам его узнает. Фройлейн Гертруда стала называть Штаалья Vube вместо Herr Leutnant в ту самую минуту, когда приобрела права на фамильярность. Новое обращение не очень нравилось Штаалю.

– Ну а я сильно изменился? – спросил он и вздохнул, выслушав ответ фройлейн Гертруды, хотя по точному смыслу ее слов выходило как будто, что он изменился мало.

⁶⁶ Ну, разумеется, господин поручик! (нем.)

⁶⁷ Бутерброды (нем.).

⁶⁸ Малыш, мальчуган; шалун (нем.).

– Да, прошла молодость, – угрюмо сказал по-русски Штааль (он уже почти механически произносил эту фразу). Фройлейн Гертруда смущенно засмеялась – она была с ним почти одних лет. Заметив, что Вубе приходит в дурное настроение, хозяйка поднялась, поплыла к шкафу, приоткрыла его, строго взглянув на девку, которая тотчас отвела испуганно глаза в сторону, и принесла зеленый круглый стаканчик с надписью: «Schmeckt gut, nicht?»⁶⁹ и красивую четырехгранную бутылку с кальмусовкой. Фройлейн Гертруда сказала Штаалю, что в Киеве всегда запивают кальмусовкой кофе. В душе она не очень одобряла этот обычай запивать кофе водкой, но считала кальмусовку безошибочным средством для того, чтобы приводить мужчин в доброе настроение духа.

– А что ж тот старичок, профессор Кант? – спросил Штааль, не без труда подыскивая тему для разговора.

Фройлейн Гертруда благодарно ему улыбнулась: Кант навсегда был для нее связан с воспоминанием о поцелуе Штааля и, вероятно, не существовал вне этого воспоминания. Фройлейн Гертруда ничего о нем не знала – ей редко писали из Кенигсберга. Она предполагала, что Кант давно умер, так как он был очень стар и дряхл. Она грустно улыбалась, вспоминая о Канте: старик так хотел выдать ее замуж.

– Да... да... Ну а чиновник, что же было с чиновником? – спросил Штааль. Фройлейн Гертруда приписала его вопрос ревности, виновато улыбнулась и, оглянувшись на девку, слегка потрепала Штааля по руке.

– Вубе, das geht Dich nicht an,⁷⁰ – кокетливо сказала она – и вдруг поспешно встала. У калитки остановилась коляска. В сад вошла дама, за ней вприпрыжку вбежал нарядный господин. Он что-то весело кричал. Сидевший к ним спиной Штааль еще прежде, чем сообразил, кому именно принадлежит этот знакомый голос, почувствовал, что случилась большая неприятность. «Ein sehr anständiger Herr aus Petersburg»,⁷¹ – быстро сказала вполголоса фройлейн Гертруда и поплыла к двери с самой приветливой улыбкой на лице. В столовую вошла Настенька в сопровождении Иванчука. Штааль проглотил восклицание досады. Он встал и очень принужденно поклонился, не только не скрывая, но даже подчеркивая свою досаду. Настенька побледнела, слегка кивнула головой, оглянулась на Иванчука и закашлялась, хоть нарочно, но так, что у нее на глазах показались слезы. Смутился несколько и Иванчук, и даже фройлейн Гертруда почувствовала, с любопытством и с инстинктивным неприятным чувством, что произошла какая-то неудачная встреча.

– Вот не думал, что тебя здесь увижу, – сухо сказал Штааль, здороваясь с Иванчуком и предоставляя своему приятелю инициативу дальнейшего – сводить ли его с Настенькой или нет. Именно этот сердитый тон успокоил Иванчука и вернул ему его обычную самоуверенность. Он изобразил радость от встречи, великодушно пожал руку Штаалю и подвел его к Настеньке с видом полководца, начинающего сражение, которое оказалось срочно необходимым. При этом самоуверенность почему-то так вдруг в нем разлилась, что он чуть-чуть не спросил: «Ведь вы знакомы?...» Однако удержался вовремя и проговорил неопределенно-шутливым тоном:

⁶⁹ «Правда, вкусно?» (нем.)

⁷⁰ Малыш, тебе нечего беспокоиться (нем.).

⁷¹ «Очень приличный, порядочный господин из Петербурга» (нем.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.